

Павел ТЕРЕШКОВЕЦ

Павел Терешковец, родился в Гомеле в 1987 году. По специальности – лингвист, синхронный переводчик немецкого. В прошлом – музыкант, фотограф. Жил в американской эмиграции, вернулся в Беларусь, сейчас живет в Минске. Публиковался в журнале «Перемены». Блогер, автор телеграм-канала «Писатель без книги», колумнист журнала «OnAir».

В БРЕДУ

Псевдоавтобиографический роман

*Посвящается Гиннунгагану,
в котором создавалась эта книга*

1

Бывает, проснусь, выпаду в мир в раннем часу, а мыслей в голове – больше, чем в ней же пространства. И воззрюсь на потолок, встревоженный, слыша откуда-то свой одичалый голос: боже, как им, должно быть, тесно! Как невероятно тесно и нелегко! Я знаю, как это бывает, хорошо знаю, а поэтому вовремя себя одёргиваю и говорю: так, соберись, тряпка, и ни в коем случае об этом не думай. Не думай о тесноте и мыслях, вообще ни о чём не думай. Твоя это голова или не твоя? Пусть это тебя не тревожит.

Ну и что же? Ясное дело, тут же берусь думать с двойной силой, причём на первую попавшуюся тему. Например: сегодня гастрономы открылись, как всегда, в семь или, как никогда, в восемь? солнце взошло на востоке или всё же на западе? сколько мне лет? сильно ли я постарел за последние сутки? какой нынче день, а лучше – месяц? почему Суэцкий канал... Ну, вы поняли.

Так продолжается некоторое время, пока я прихожу в себя, сквозь мутное сознание пытаюсь разобраться, гуляю ли я по какому-то парку, или сплю, или только что проснулся. Наконец я заключаю, что проснулся и нет никакого парка, делаю над собой волевое усилие и выкристаллизываю вот какую небезынтересную мысль: «Нет, надо определённо что-то с этим делать», – думаю я в такое утро и вот уже собираюсь что-то предпринять, но так ничего и не предпринимаю, потому что непонятно, что же всё-таки можно с этим сделать.

А, наверное, сделать ничего и нельзя, вот я и остаюсь наедине со своими мыслями и каждую в отдельности тщательно продумываю, в надежде, что она исчезнет, если изучить её от «х» до «й» и обратно, все её варианты, но она не исчезает, а становится только больше, плодится, ширится и растёт, и, чтобы в ней окончательно не погрязнуть, я в отчаянье перехожу к следующей по списку.

Думаю: может, что-нибудь почитать, отвлечься? Да, но ты одновременно читаешь семь книг – так с какой же начать? Я в нерешительности застываю, пока случайным образом не рождается новая идея: итак, может, вместо чтения лучше что-нибудь посмотреть? Было бы хорошо, только вот что? Есть список из пятидесяти фильмов, художественных, а нехудожественных – ещё шестьдесят восемь, плюс с десятков каких-то крайне важных, но совершенно бесполезных роликов в интернете – что будешь смотреть? Я сдаюсь. Ничего я смотреть не буду.

Лучше, пожалуй, чего-нибудь послушаю. Например, аудиокнигу? Но тут же отказываюсь от этой мысли, вспомнив, сколько аудиокниг у меня накопилось за

последнее время. Тогда – музыку! Да, музыку, точно! Хотя... Какое у тебя сегодня настроение? Будешь слушать босанову, приплясывая, или сразу перейдёшь к классическим симфониям Баха – взгрустнуть? Может, ты настроен лирически – тогда подойдёт Кобзон или блатной одесский бит вперемешку с колумбийской народной песней. Но если рвёшься в бой и думаешь о родине, лучше григорианских пений и «Прощания славянки» ничего не найдётся. Не то... Ну, тогда, наверное, Элвиса или ирландские мотивы? Не то, всё не то...

«Можно полистать журналы», – слышу я себя сквозь туман утренней дрёмы, но тотчас доходит, что журналы не читаю, да и никаких других, кроме тех, где публикуюсь сам, не держу: у меня здоровый литературный нарциссизм, если можно так выразиться; вся макулатура, где нет ни одной моей строчки, по умолчанию считается пошлой и недостойной и подлежит немедленной утилизации. Я даже не смотрю в сторону такого читателя и другим не советую. Итак, журналы – отбой. «Что же, чёрт возьми, остаётся?» – вопрошаю я в бедной своей голове, где уже совсем не осталось свободного места, где все мысли поразбухли так, что теперь мне и самому становится тесновато. И тут вспышка ядерного взрыва ослепляет меня.

Генеральная уборка! Ха! Как я сразу не догадался? Я смеюсь над своей тупостью и малоумием. Это же надо – не подумать о самом очевидном! Ты здесь живёшь, тебя должны окружать лоск и чистота, ты должен растворяться в парах растительных ПАВ на кокосе. Я почти закатываю рукава, почти беру в руки ведро, швабру, но тут посещает меня очередная отрезвляющая мысль, что перед полами надо бы протереть все поверхности от пыли, включая восемьдесят восемь клавиш пианино, белых и чёрных, телевизор, колонки, стол, кашпо. Ещё – все ручки в доме, потому что ты их вечно лапаешь. А также – выключатели. Но раз уж браться за дело – так, извините меня, и унитаз надо отдраить, и раковины помыть, и плиту от жира максимально избавить, и ещё много чего сделать перед тем, как переходить к половым покрытиям. Или я всё это уже делал? Я мысленно ставлю швабру с ведром обратно и думаю дальше.

Поливать растения? Так, я их поливал не далее как вчера... Соцсети? Так у меня от них давно изжога... О! Повесить картину! На ней изображена Французская революция в виде распустившегося цветка алоэ – как эти явления связаны, не спрашивайте, я сам до сих пор соображаю. Я б её, конечно, повесил, но ведь стены у меня сделаны на совесть, из бетона со спорадически и без всякой логики возникающими то здесь, то там камнями, кто-то очень хорошо постарался, – над двумя дырками буду потеть полдня и в итоге хренову стену разнесу в пыль и пепел. Дюбеля смотрят на меня с укором.

Нет, это не сегодня, это можно спокойно сделать через сутки или в следующем году. Не горит. Помыть, может, окна? Да пылали б они в аду белым пламенем, эти окна! Терпеть не могу. Какой смысл? Только помою – небо в ту же секунду затягивает тучами, синоптики в ужасе объявляют красный уровень опасности, и гроза три дня беспощадно хлещет в невинные стёкла. К тому же всегда есть риск вывалиться, а с восьмого этажа это будет не очень приятно.

Тогда – погладить вещи. Только вот они все (все ли?) поглажены... Поубивать пищевую моль? Вся до единой жестоко убита ещё в прошлом месяце... Постирать бельё? Так я никогда горы не собираю, стираю по мере, так сказать, поступления, а поэтому сегодня и стирать нечего... О, Вседержитель, сколько мыслей, сколько бесцельных идей...

Вижу скакалку, зелёную, длинную скакалку со счётчиком прыжков для особо пытливых и апатичных, прыгаю сто раз, икры начинают ныть, останавливаюсь. Хорошо, уже хоть что-то сделал, пусть и в уме. Да, но что дальше? Выучить стих Бродского! Лень. Прогуляться на улице? Я снова громко смеюсь. Ну конечно, на улице. А известно ли тебе, бледнолицый, сколько на улице маршрутов? По которому ты пойдёшь? По большому кругу или по малому? В сторону Заводского района или к кольцевой с парком? Мимо гипермаркета или минуя гастронорм? Количество путей настолько велико и так

неисповедимо, что число возможных комбинаций в шахматном эндшпиле покажется тебе кощунственно малым и бесконечно стремящимся к нулю. Соответственно – лучше никуда не идти. Да я это и несерьёзно подумал, о прогулке. Вы, что ли, не поняли? Это я шутил.

Но сейчас, конечно, не до шуток. Ведь так было и в это утро, а бывает оно такое не часто: раз-два в неделю. От силы три. Иногда четыре и больше, но это редко, поэтому в расчёт не беру. Так вот, я проснулся в раннем часу, слишком, однако, позднем уже для открытия магазинов, и сначала обратил внимание на потолок, на котором ровным счётом ничего, кроме побелки-то, и не было, но внимание он моё к себе почему-то приковал. Если бы не дурацкий потолок, я бы, возможно, и не стал сегодня думать: лежал бы себе в постели, глядел бы на внутреннюю сторону век с хитрой арабеской кровеносных сосудов, следил бы за маленькими чёрненькими точками, ненавязчиво, в ритме вальса или босановы плавающими туда-сюда, и ничего бы не думал и не делал бы тоже ничего. Ничего бы не предпринимал. Это было бы прекрасное, беззаботное, чувственное утро, но, раз потолок против воли завладел моим взглядом, мне ничего другого не оставалось...

Я сразу задумался: как это так? Что же меня в нём привлекает или, наоборот, отталкивает? Сложно было определиться, нравится он мне или нет, – но я продолжал размышления. Вот ты проснулся и посмотрел на чёртов потолок – так что же теперь, весь день насмарку? До вечера здесь торчать будешь? Потолок как потолок, ничего особенного в нём нет. Плюнь на него и забудь. Только если будешь плевать, то плюй чуть-чуть в сторону, а не вертикально вверх. Но, может, именно поэтому ты на него и смотришь, что он совершенно не примечателен и бел?

Так я думал и не вставал, вместо век рассматривая над собой белое полотно потолка. Вскоре я обнаружил, что чёрные точки на самом деле были и на потолке, а не только под моими веками, просто сначала я их зачем-то игнорировал и для чего-то не замечал. Дом, видать, за пару лет дал усадку, и стали появляться так называемые «жучки» – куски нарушающего потолочную целостность бетона. По идее они должны были потолок уродовать, но нет – я даже вздохнул с облегчением и обрадовался: стерильное совершенство белого разбавлялось идеальной пропорцией хаотических выбоин, становясь более человеческим и земным, и уже не таким совершенным. Я пришёл к выводу, что именно в этом «ваби-саби» и проявляется – восточная философия, которой я в последнее время всецело так проникся. Течение довольно обыденно гласило: «Всё безупречное – шаблонно и низменно, модерн – ущербен, неосквернённость – мимолётна». Мне нравилось это течение. Весьма неплохо бросать вещи где попало и объяснять это какими-то восточными веяниями. Это удобно, я мгновенно стал адептом.

Но даже ваби-саби нужно, говорят, в меру, а у меня же меры никакой ни в чём никогда не было. И если представить, что потолок вдоль и поперёк вдруг изойдётся жучками – что же это тогда будет? Красота? Произведение искусства? Вместо белого потолка я буду каждое утро лицезреть чёрный и всё гадать: обвалится он когда-нибудь из-за халатности какого-то строителя или не обвалится? Поэтому лучше, чтобы не обвалился, во всём мера.

Однако если мера – сущность сама по себе понятная и даже в некоторой степени банальная, то зачем вообще придумывать и изобретать всяческие теории и философии? Ведь тогда человек будет в меру сумбурен, бессистемен и в меру порядочен, в меру козёл, убудок и в меру романтик. Будет тебе и фэншуй, и ваби-саби, и коммунизм, и анархическая демократия. Не придётся ломать голову, в какую религию податься или сколько камней закинуть в бетон, ведь у всех всего будет в меру.

2

Я ещё думал какое-то время эти тяжёлые мысли, перекачивал их из правого полушария в левое, из левого в правое, потом встал, кое-как умылся, неохотно посмотрелся в зеркало и улыбнулся. Вот оно – это утро, и именно так оно начинается.

Лицо в зеркале и кривой потолок. И много-много никчёмных, непрошенных мыслей, без которых я вполне мог бы обойтись и час, и два, и даже полжизни.

Вообще, мне кажется – и я не однажды это замечал, – что люди без мыслей, то есть глупые, беспросветно тупые люди, напроць, вдрызг счастливы. Их ничто не беспокоит, а если и беспокоит, то исключительно явления вроде подорожавшей водки, отключения горячей воды, непрочного латекса или не вовремя завязавшего коллеги по цеху – феномены такого порядка. Всё остальное, на чём держится мир, их совершенно, никоим образом не волнует.

А меня волнует. Я человек беспокойный и нетупой. Меня как раз всё остальное и волнует, и мне нет никакого дела до латекса, коллеги и водки, и вот я теперь думаю, волнует ли оно вообще кого-то, кроме меня. Ведь может так случиться, что это я один такой, оригинальный, а все остальные – сверх необходимого иные, беспричастны главным вопросам вселенной, и меня не поймут. Если же не поймут – зачем тогда всё это? Зачем тогда вообще что-то писать? Я помрачнел и криво улыбнулся себе в зеркало. Пусть не понимают, это краеугольный камень существования, главное – чтобы хоть кто-то прочёл, а то иначе действительно – зачем?

Я отрешённо вышел из ванны, заварил себе крепкого чая, что-то обдумывая, слыша, как мусоровоз гремит во дворе, и уселся, наконец, с облегчением в то самое кресло в зале, где окончательно потерял над собой контроль. Чай всё, конечно, только усугубил. Я спохватился, когда половина уже плескалась во мне. Суть в том, что стоит его выпить, особенно если заварка крепкая, как я люблю, – извилины начинают плавиться, превращаясь в жижу навязчивых мыслей, тебя начинают терзать сомнения, ты уже не веришь в своё предназначение, это в один момент, а в другой – совершенно уверен в своей уникальной миссии на земле, потом думаешь о мире и как его спасти, но в конце концов останавливаешься на чём-то попроще и пытаешься найти себе необременительное занятие, чтобы через некоторую абстрактную деятельность обрести внутренний покой – бог с ним, с миром. Вот будь у меня полтора или два возможных дела на все двадцать четыре часа в сутках, допустим: поесть и поспать – я бы с ними без проблем управился. Без проблем и с огромным удовольствием. Встал бы, поел бы, ел бы долго и не спеша, с насмешкой, а потом, не смотря ни на какой потолок, сразу бы и завалился снова спать. И если соотносить это с какой-нибудь философией, можно было бы даже допустить, что я велик, как Будда: ничего не делаю, а только прорежаю время (пространство, как видно, не прорежаю) своим остроконечным телом. А вот своим колюще-режущим взглядом – тем, да, проникаю в пространство и вещи, но недалеко, метров на десять туда-сюда, не более: у меня не такая уж и большая квартира.

Так если ничто из предложенного не подходит – что же тогда делать? Я барабанил пальцами по собственной коленке. А что если... Я сделал осторожное сам себе предложение: а что если приготовить поесть? Ведь как делал Будда? Наверное, ел, а потом – отсыпался перед следующим приёмом пищи... А ты вот хорошенько подумай для начала, как бы это хоть что приготовить. Подумал ты об этом? Ты, должно быть, обо всём сегодня подумал, а об этом – ещё не подумал. Смотри, а то и чай остынет...

Я машинально подул на чай и сделал глоток. Только теперь я заметил, что чай был холодный, а ведь буквально пару минут назад заварил. Или?... Нет, это, наверное, вчерашний, а что сегодня заваривал – так то или показалось, или на кухне оставил. И ещё горчит, аж противно. Чифир, почти как в «Зоне» Довлатова, под стать тюремному жаргону. Хорошая книга, но печальная... Так у него и жизнь не особо весёлая, верно, была. Хотя если сравнить с моей, то всё же повеселей будет. Он, по крайней мере, заставлял себя встать, даже пьяного и с бодуна, и куда-нибудь выйти, например, в редакцию. Или куда-нибудь поехать, например, в ту же редакцию. А я? Как встал, так ничего и не делаю, и никуда не иду.

С другой стороны, мне и нечего делать, и почти некуда идти – так чего ж мне суесться? Довлатов суесться, суесться – и, как видите, смежил очи. Что же я – так же

хочу? Не хочу я так же. Поэтому буду здесь сидеть и продолжать ничего не делать, пока не придумаю себе занятие получше.

А всё ж таки позавтракать необходимо... Да, но опять же, подумал ли ты, что для этого требуется? Что нужно, чтобы вкусное блюдо оказалось в твоём ненасытном желудке? В еде ведь ты тоже не знаешь меры, как и во всём остальном. Я осмотрелся. Всё идеально чисто, всё на своих местах. А я ещё хотел что-то убирать. Смешно, ведь убирать-то и нечего. Я каждый день убираю, пусть же сегодня будет исключением. Пусть накопится немного ваби-саби: пыли, грязных носков и беспорядка – в этом каменно-бетонном пространстве... Ваби-саби, ваби-саби... Васа-би...

Оно! Васаби! О да, как хорошо было бы, чтобы вот на этом месте, на этом столике из «Икеи», вместо чашки холодного чая оказались тёплые суши с копчёным угрём, а рядом, в керамической пиале с восточным орнаментом, васаби и соевый соус. На прошлой неделе, я слышал, в одном заведении неподалёку была какая-то акция, только надо вспомнить какая. Приведи друга, а сам останься дома... Пять суши бесплатно, если предварительно за них заплатите... Вторая палочка в подарок... Что-то такое... Не помню. Не могу вспомнить. Надо им позвонить, в любом случае, и уточнить. Я даже номер запомнил, надо только вырыть его из глубин памяти: пять-пять-пять, что-то там. Чёрт, телефон же в спальне!

Вот раньше было, а? – жизнь простотой своей удивляла. Телефон всегда стоял либо на столе, либо на какой-нибудь полке, как водилось, в зале, с разбежкой в два-три метра, по длине провода. И удобно ж было! Поднял трубку, позвонил, тебе сухо назвали столичное время или в подробностях обрисовали ближайшую метеосводку. Или взял и позвонил и с кем-нибудь поругался. А ещё лучше, позвонил по неизвестному номеру – и послал незнакомца на три буквы, не ругаясь. Или доверительно ему поведал, как на днях забавлялся с его маманей. А он тебе – что он тебе? А ничего он тебе и не сделает: ни у кого ещё в ту варварскую эпоху определителей номера не было. Если же всё-таки удавалось наткнуться на буржуя с таким новомодным устройством – редкий случай! – это становилось понятно ещё во время гудков по характерному щелчку – щёлк! Тогда ты хладнокровно клал трубку и набирал другой, наугад, номер. Хорошо было.

А сегодня – всегда под прицелом, всегда под наблюдением. Ни шага не сделаешь, чтобы кто-то не узнал. Я и на улицу-то перестал соваться, потому что уже даже на нашем доме установили видеокамеры. Установили и направили на клумбы – зачем? А затем, оказалось, что в какой куст ни плюнь, вертикально или чуть-чуть в сторону, где по-маленькому ни остановись, – везде заметят, и отчитают, и штраф, не скупясь, обильный выпишут. Благородный такой метод пополнения казны. Жизнь ли это?

Меня такой расклад, допустим, не устраивает. А вот суши устроили бы, но опять же – телефон. «Так иди и приготовь поесть!» – кричал я на самого себя. Это быстрее будет. Никому звонить, ни про какие акции узнавать не надо, да ещё потом жди неизвестно сколько. У тебя холодильник забит, как голова дерьмом, – там любое блюдо можно состряпать. Я кивнул: ага, хорошо говорить, но так ли всё просто? Даже чтобы сделать яичницу, которую я, впрочем, уже давно не употребляю, нужно помыть и поджарить два-три фермерских яйца с зелёным отливом от кур Араукана (я покупал и признавал только такие), а просто так яичницу, даже фермерскую и с отливом, есть невкусно – нужен гарнир, салат, ну и пошло-поехало.

Нет уж, лучше чай. Пусть холодный, пусть чифир, но всё же какая-никакая жидкость. Кроме того, я где-то читал, что есть с утра вредно, да и вообще существуют праноеды, об этом я тоже где-то или читал, или слышал – те вообще не едят принципиально. Может, как-то с ними скооперироваться, примкнуть к их рядам? Нормальная такая секта. Идёшь себе по улице и жрёшь прану на ходу, и ни одна из видеокамер не поймёт, что ты жрёшь, и никто тебя не наругает. Какое безнаказанное существование!

Вообще, если подумать, то я всё либо где-то слышал, либо об этом где-то читал. Изредка – видел. Ещё реже – трогал. Как мало у человека достоверных источников, но по уму ему больше и не надо! Мне, скажем, совсем ничего не надо. Я даже вот сейчас понимаю, что вполне мог бы обойтись и без чая, как и без мыслей. Можно было бы сразу идти напрямик в зал и усаживаться в глубокое кресло для глубоких дум, ничего не заваривая и думы от себя по возможности отгоняя. Но что сделано – то сделано. Буду, значит, пить.

Я сделал ещё один глоток – странное дело: теперь чай как будто потеплел, был теплее, чем в прошлый раз, а ведь прошлый раз был совсем недавно. Это что значит? Я нигде не читал и ни от кого не слышал, чтобы чаи могли вот так вот самопроизвольно нагреваться. Странное дело... Хорошо хоть сегодня какой-то день недели, не имеет значения какой. Потому что в любой другой – день – всё могло быть иначе, и не факт, что оно понравилось бы мне больше.

Я посмотрел в окно. Светило солнце. Слегка дрожал воздух от тепла. И тут оглушительно и отчётливо, как обухом по темени, услышал я собственную совесть. А у неё, знаете, голос такой гнусавый, нечленораздельный, утомляющий, особенно с утра, когда она ещё не успела разговориться. Она хрипела мне и во мне, что нельзя такой день просиживать дома. Конечно, там было другое, менее обтекаемое слово, не «просиживать». «Ты когда в последний раз в люди выбирался, волк ты позорный?» Она всегда кроет комплиментами, стерва, ничто человеческое ей не чуждо. «Когда выбирался – не твоего ума дело... Выбирался я, не переживай, выбирался...» – «Так ли ты прям выбирался, что сейчас сидишь здесь, как приклеенный?» Я вздохнул: «Ну а тебе-то что, сижу я или стою? Тебе какая разница?» – «А такая мне разница, – отвечала она уверенно и нахально, – что меня в тебя престарелые черти закинули, и я вынуждена в тебе жить, в твоём сердце, – и уже чуть более обиженно, чуть ли не капризно: – Меня вообще-то никто не спрашивал, хочу я или не хочу, а я не очень-то и хотела, ясно?» – «Ясно, ясно... Разоралась... Ну так знай же: я тебя тоже не выбирал». Я отвернулся, и она замолчала. Обдумывала, должно быть, что ответить.

Я знаю, с совестью я никогда толком договориться не мог. Ну а как с ней договориться, когда она сразу в эмоции и на повышенных тонах? Иди, не сиди и прочее. Я, если бы хотел идти, давно бы пошёл. Так вот, наверное, ведь не хочу, раз никуда не иду, она это учитывала? Не учитывала, я знаю. Она только себя всегда, дрянь, и учитывает. У, повезло же мне с ней...

«Ты кого дрянью назвал, мудозвон?» О, я же говорю, ни секунды покоя. «Да так, вспоминаю одну свою бывшую...» – соврал я. «Так тебе не одну тогда, а всех их вспоминать надо». – «Хоть в чём-то я с тобой согласен», – сказал я и замолк.

Правда ведь – все они, как одна, стервами были, что уж тут. Одна вышла из кино и сказала: всё, говорит, фильм был отличный, но пора нам завязывать. Вторая даже не закончила ужин и ушла, так и оставив итальянские спагетти остывать на столе, к какому-то кавказцу. Третью я, помню, пропустил – сразу приступил к четвёртой. Думал, прерву чёрную полосу хитрым тактическим манёвром. Ага, как бы не так, разогнался. Четвёртая перестала поднимать телефон ещё до того, как мы познакомились: исчезла, растворилась, как краска под ацетоном. Пятая... Ай, даже вспоминать не хочется, всё настроение испорчу.

Настроение-то ведь прекрасное. Такое утро... Какие дела, какие свершения меня ждут сегодня! Хочется петь, веселиться, танцевать! Мешают наслаждению только мысли – чересчур их, дают больно... Я смотрел на солнце, не закрывая глаз, слёзы стекали по моему лицу. Пусть, пусть выжжет через глазной канал бряцанье мыслей в голове – может, полегчает, оковы спадут, может, хоть вздохну в покое. Посмотрю на этот огненный шар и буду потом ничего перед собой не видеть, только фантомные пятна разных цветов, и периферическим зрением выхватывать из пространства детали: вот ножка стола, вот

ободок чашки, вот пальцы мои, а вот – лампочка под потолком. А по самому центру – зияющая бездна от раскалённой звезды.

Однажды я весь день просидел в кресле, то плясая на солнце, то боковым зрением пытаюсь потом разобрать буквы в газете – у меня была ровно одна штука, как сейчас помню. Хороший был день, насыщенный. Теперь, правда, и той не осталось, а осталась от неё половина (куда делась вторая?) – ну что ж, можно перечитать и половину, коль скоро всё равно с этим пятном читать нормально не получится.

Это не самое радикальное, что я делал в своей жизни, думаю, вы это уже поняли. Бывало много чего, скажем прямо. Бывало, на поезде в Симферополь случайно уезжал, бывало, чтобы стать честным и законным гражданином иностранного государства, документы подделывал, а бывало, и их пропивал, панегирики переводил, бывало... Да если я сейчас начну рассказывать, что было и чего не было, так вы тут же уснёте и слушать не станете, и я бессмысленно затоскую. Столько всего бывало...

На конях я пьяный ездил, если хотите знать, и с них же ещё более пьяный сваливался, с людьми, бывало, ругался, бывало, дрался, а бывало и так, что они со мной... Под дождём костёр разжигал, на лавочках всяких сидел без причины, в беседках с людьми разговаривал, на темы высокие и не очень. Ой, да я даже начинать не стану! Ведь я и растения в порыве щедрости пивом поливал, и в те же газеты что-то писал несуразное, и переходил дорогу на красный свет в собственных галлюцинациях, и кольцевую перебежал в час пик. Конечно, это вам не довлатовский балаган, коим была, представляется, его жизнь, но и не тургеневское, знаете, описание природы. Тут есть куда харкнуть, где разгуляться.

Кресло становилось подо мной таким мягким-мягким, как зефир, как крем-брюле, размокшее в шампанском, и я всё глубже в него проваливался. Я думал о том, что в этой жизни, за свои долгие тридцать два года (вот – вспомнил свой возраст!), которые пролетели, как внеплановый субботник, успел и что мне ещё предстояло, и тут заметил я, что солнечные лучи падают прямо в чашку с чаем и оттуда выстреливают нежной матовой рябью вверх. Меня осенило. Так вот оно, значит, что! Вот как он подогрелся!

Я хитро улыбнулся собственной сообразительности. А ведь не каждый-то догадается. Многие имбецилы продолжили бы сидеть со своей пустой черепушкой и гадать, что за высшая сила согрела чифир. Но не я. Не я! Я не такой, как все они, иные и обыкновенные. Есть во мне какая-то гигантская изюминка, которую никто не замечает. Все слепы. Я её и сам ищу, но, не будь я уверен в её существовании, ни за что бы искать и не начал, а потому знаю точно: она есть, большая. И дело времени, когда я до неё докопаюсь, а уж когда докопаюсь...

3

Зазвонил телефон. Я почувствовал, как правая часть моего тела дёрнулась в порыве встать и направиться в спальню за телефоном, но левая с правой не согласилась и продолжила пассивно и отважно утопать в кресельной обивке. А обивка-то, между прочим, дешёвая... Каждый раз, как сажусь сюда, раздаётся скрип. Дело не в обивке, конечно, я понимаю, дело в том, что под ней. Так вот туда я заглядывать и опасаясь. Чего опасаясь? Нет, не хлипкого китайского шпона, я и так знаю, что его там выше крыши. Опасаюсь как-нибудь посмотреть под кресло и обнаружить там, ну не знаю, затаившегося клоуна с византийской улыбкой – как вам такое? Дзынь! Кому это я понадобился в такую рань, интересно? Есть у кого-нибудь, кроме меня, хотя бы жалкое подобие совести, стервы этой...

«Это кто, то есть, стерва?!» – «Да кто-кто! Та это, первая которая, из кинотеатра. Ну, и вторая, и четвёртая...» – «Все у тебя, погляжу, стервы, один ты принц без белого коня». Я вспомнил кобылу, с которой под действием некачественного коньяка грохнулся в московском манеже. Её звали Крэизи Хорс, она оправдывала своё имя, и была она белой. «Почему это сразу без белого? Откуда тебе знать: без белого или всё-таки с белым?» – «Да

потому что ты с них только падать и умеешь. Я тебя, к сожалению, как облупленного знаю». – «И что же ты, интересно, знаешь?» – «Ага, сейчас, доклад тебе напишу или диссертацию...» – «Так вот, к твоему сведению, тебя много лет не было, и это были прекрасные года, а потом наступил тот безрадостный день – и я его прекрасно помню, – когда ты наконец проснулась и возопила...»

Совість спросила меня, о чём именно она возопила, ей было любопытно, делала вид, что запамятовала. А я ответил, что она сама прекрасно знает, но на всякий случай напомнил: в тот день я поджёг чужой стог сена, причём без злого умысла, а так, в качестве досуга, ведь был я уверен, что стог сена ничей, и здесь должен отметить, что да, я идиот, ибо в наше время даже стогов сена ничейных не бывает. Частная собственность сожрала уже все умы человечества. Но я-то не знал! Я был молод и слеп, и этим всем был прекрасен – до тех пор, пока не сгорела последняя иссохшая травинка стога, а на улицу не выкатилась бабка с дедом и не заорала вместе с ним благим матом на весь двор что-то о справедливости, Всевышнем, приплетя в речь свою зачем-то ещё и евреев. И вот тогда, в тот самый момент их вопли проникли в меня, в моё сердце, глубоко, как я в этом теперь кресле, и вопль остался во мне навечно, окаменев, став совестью моей и моим наказанием за всё то неблагоприятное, что мне доводилось совершать до этого и после.

Она молчала, а я наблюдал, как луч медленно ползёт по чашке. Дзыыыынь! Чёрт, не пойду я никуда. Никому отвечать не стану. Кому я с утра понадобился? Никуда я не пойду. Ошиблись номером. Сейчас столько номеров, что ошибиться совсем не сложно. Вот перепутай всего одну цифру – и на тебе, звонишь уже не в психдом, куда следовало бы звонить, а прямо ко мне в квартиру. Потому что тем, кто так рано решает позвонить, надо звонить напрямую в психушку, и больше никуда. Не буду я брать эту трубку.

Даже если не ошиблись – так с плохими новостями, значит. Иначе зачем телефонировать до полудня, м? Ни перед кем у меня долгов нету, поэтому вряд ли звонят, чтобы их потребовать, хотя и такое бывает. Встречаться я ни с кем не собирался, потому как уже полгода ни с кем не встречаюсь – зачем? – а только изредка смотрю краем глаза новости, где одно только слово: «коронавирус, коронавирус, коронавирус». Сверхмодная мантра. Можно даже ящик не включать – я и так это слышу, когда совесть замолкает, вот как сейчас... Слышите? И потом, все эти уличные камеры...

Кто знает, может, пандемия продлится ещё месяц, а может, и год, и даже пятилетку. Будет как в восемнадцатом году с испанским гриппом... Не дай бог, конечно, а то я ж в своей квартирке-то и двинусь. Раньше ведь как было. Приплыл из дальнего плавания. Ездил ты в отпуск на Карибы или в Алжир (я не знаю, были ли тогда отпуска и доплывал ли кто до Кариб) и вот приплыл обратно – а тебя в карантин, на сорок дней у острова Лазаретто – опа! Не ожидал, а? И ничего не скажешь, потому что никто тебя слушать не станет. Оттуда мало ли какой грязи можно понавезти. Поэтому сидишь, этакий отдохнувший придурок, с бронзовым своим загаром, и смотришь, как в четырёх километрах от тебя бурлит нормальная городская жизнь. И солнце рябью, как в чае, идёт по волнам, а ты в мутный иллюминатор, который никто не моет, палишься на светило и вспоминаешь этот самый Алжир с его Карибами. И взвешиваешь мысленно: стоило оно того, чтобы теперь вот здесь отсиживаться? И расплываешься в тайной улыбке, вспоминая гашиш и тамошних распутных женщин, – ещё как стоило...

Хотя... Путёвка во время Просвещения туда и обратно – можно было триста семь дней шиковать в Симферополе и все эти триста семь дней ни одного дня не просыхать, как Довлатов. Я бы также не отходил от какого-нибудь киоска с фруктами и креветками, я ж гурман! Я бы пристально оглядывал девушек и плавил бы их своим желанием. Вот это другой разговор, вот это был бы отпуск! Может, в таком отпуске я даже чего-нибудь и написал бы, чего-нибудь такого... Ну, такого, знаете, чтобы потом хвалили. Ко мне пришла бы вся редакция неизвестного журнала – а есть и такие, я об этом слышал, – и все бы в один голос восхищались, какой, значит, у меня бесконечный талант и как они польщены моим материалом, и твердили бы, что благодарны моему прадеду за такого

правнука, а моему прапрадеду – за праправнука, а моему... А ещё, сказали бы они, мы знаем вашу грандиозную изюминку, не утаите, мы нашли её! Тут уж я б не выдержал, верно, и польстился. Эта ваша изюминка, мол, она поистине восхитительна и огромна, лепетали бы они наперебой, а я бы всё больше вдохновлялся и всё больше привстаивал бы с кресла от удивления.

«В чём же она заключается, изюминка эта?!» – надрывался бы я из последних сил, лез бы я вон из кожи, чтобы узнать правду, но меня бы никто не слышал, потому что голоса их намного громче моего, как глас безответственности во мне громче хрипа совести. Ваша изюминка, она такая необычная. Мы, как только её обнаружили, сразу все и обомлели – такая необычная она была, так сразила наповал всю нашу редакцию и редакции всех остальных выдуманных и неизвестных никому изданий. Все в трепете от вас, Павел Александрович, запомните это, все изнемогают, поэтому не останавливайтесь и растите её дальше, пусть становится больше, ведь она, изюминка, заключается вот в чём...

Тут я услышал монотонный гул рельс в голове и притаился.

4

Мы куда-то ехали, уже не вспомню кто и куда, но – ехали, потому что я слышал стук колёс о железнодорожное полотнище, рядом же ощущал присутствие людей, иногда слышал, как кто-то редко переговаривался, а сам думал: куда это я собрался? Мне ведь никуда не надо было. Я мог бы спокойно сидеть, где сидел, и не рыпаться. Чего это мне вдруг приспичило куда-то? А хотя как сказать. Не исключено, что еду в редакцию. В ту самую или в другую – неважно. Главное, что там мой труд оценят или уже оценили. Да, они же приходили ко мне и говорили, как нашли ту самую изюминку, которую я вот как уже битых тридцать два года найти не в состоянии! А через год-то – возраст Христа! До этого нужно создать что-то вечное, потому что, как известно, в тридцать три тебя, не интересуясь твоим мнением и ничего не спрашивая, могут провести по виа Долороза и потом вздёрнуть без особых церемоний на кресте из смоковницы. Было бы тоскливо там оказаться, не имея достойной книги за плечами. А так хотя бы у креста будет весь состав редакции, декламировать, вбивая в ладони ржавые гвозди: «Ге-ний, ге-ний!»

Впрочем, не стоит торопиться. Пиши не пиши, старайся не старайся, а толковое что выйдет только тогда, когда придёт время, и на это никак не повлиять. Я хоть далеко не приверженец фатализма, а думаю тем не менее именно так. Но меня это уже и не должно заботить, рассуждал я, поглядывая сквозь мутное окошко наружу, на ту ружу, которая расстилалась за мутным окном, не стыдись и не краснея. Поля раскинулись во все четыре стороны и ускользали из-под взгляда, как будто было под ним неуютно. А мне, что ли, уютно? На этой деревянной скамье? Да у меня, если вам угодно, вся жопа обомлела и приклеилась к этим лакированным доскам. Мог же взять купе, так нет – взял общий... Скупой платит дважды, а я даже один раз нормально заплатить пожамотничал. Ну и ладно.

В поездах – вы помните? – я ездил даже в Симферополь, и мне это не в новинку, я этого не боюсь. Благо что в них ничего делать не надо. Поэтому я поезда и люблю. И не только поезда – ещё самолёты и троллейбусы. Хотя нет, троллейбусы не люблю. Кто любит троллейбусы? Да это электрогробы с рогами. Люблю я, пожалуй, автобусы, и то при условии, что на большое расстояние, куда подальше чтобы так. Чтобы не чувствовать ход времени, но прорезаться своим остроконечным телом сквозь него, как теперь я им прорезаюсь ещё и сквозь пространство, хотя никого я не просил, чтобы сейчас куда-то ехать и что-то прорезать. Мог же сидеть себе дома? Мог...

Куда только, интересно, я таким темпом прорежусь?

– Чай, кофе, чифир, чай, кофе, чифир...

– Простите, вы сказали «чифир»?

Женщина остановилась в проходе, подбоченившись руками и презрительно на меня посмотрев:

– Ишь чего придумал! Им уже чифир в вагоне подавай. Да народ совсем ориентиры потерял!.. – говорила она всё громче и всё меньше обращаясь ко мне, при этом всё больше ко всем одновременно и в то же время – ни к кому в отдельности.

– Да вы меня не так поняли...

– Поняла я всё, что было надо. Посмотри на себя, на кого похож! Сидит, унылый и потрёпанный, да ещё чифира требует.

Как всё-таки бесит эта их стародавняя привычка сразу фамильярно переходить на личности.

– Так вы же сами сказали: «чифир»! – сказал я, поправляя от неловкости невидимый галстук. – И я не требовал, а просто интересовался...

– Оглох! Я сказала – «кефир». Ке-фир! Понятно? А чифирных я ваших знаю, знаю я вашего брата, – она надменно и грозно осматривала лавки, в поисках, наверное, мне подобных. – Ещё вчера мне всё купе в тринадцатом вагоне облевали, разнесли и Западу продали. Ты случаем не из их компании?

– Женщина, я бы попросил...

– Маму свою просить будешь, молокосос!

Какая схожесть с моей совестью, поразился я. Тут она замолчала, зарумянилась и внезапно улыбнулась, приобретя лик святой Терезы:

– Итак, чего пожелаете?

Меня изумила эта перемена тона, но я не растерялся.

– Мне бы... чайку, – промямлил я с опаской.

Какой-то здесь, наверное, подвох, подумал я.

– Чай? Будет вам чай. Сахар, без?

– Спасибо, без.

И ушла, вопя на весь вагон:

– Кофе, чай, чифир...

Я долго вслушивался в эти слова, пока они эхом отражались от стен, скамеек, потолка и пола, изъеденного тёмными полосами от обуви. Я никак не мог ошибиться. Если бы она сказала один раз – я бы даже не стал у неё спрашивать. Так ведь она, стерва... «Опять за своё!»... ведь она повторила это несколько раз. Я поэтому и переспросил, что точно «чифир» услышал, а не что-то другое. А чифир мне в поездах ещё не предлагали – как тут было не поинтересоваться?

Я посмотрел на пассажиров, взглядом ища немой поддержки, но все были мрачны и погружены в себя. Никто не смотрел ни на кого, все как будто ослепли: кто уставился в свой телефон, кто в пространство перед собой, кто – в окно. Я тоже посмотрел в окно. Поля ускользали, деревья ускользали, время ускользало. Им было неуютно. Внутри поднималась тревога: а что, если я уже опоздал? Тогда можно никуда и не ехать и выйти на следующей станции, пока она мой чай не отравила. Но если опоздал, то меня, наверное, кто-нибудь наругает, а вот это уж совсем лишнее – лучше выпью ядовитого чаю...

Ну так вот. Я знаю, как они делают эти журналы. Я тысячу раз приходил в редакцию, весёлый, радостный, за гонораром, весь с пылу, с жару, потный ещё, безудержный, в порыве какого-то чувства отворял дверь – и меня захлёстывал мёртвый воздух, как будто его держали взаперти сорок карантинных дней, четверть века или больше. Он выходил, а я – входил в, казалось, безвоздушное пространство. Дизайнеры как всегда бессовестно спали и даже не пытались для виду проснуться. Рекламный отдел был посовестливей, у их совести тоже, может, гнусный голос. Они хотя бы создавали впечатление активности, но на рожах их всё равно я видел эти красные вмятины: у кого от кокосового печенья, у кого от клавиатуры, у третьего от руки и так далее. Главреда – той вообще никогда не было на месте, поэтому судить о том, спала она где или бодрствовала, я не брался, но где-то внутри знал наверняка: спит. Точно спит.

И только бухгалтера удавалось найти в одном из кабинетов пьющей подозрительно пахнущий алкоголем кофе, слегка неадекватной и потягивающей беломор в сомнительной компании схожих по комплекции и дурным привычкам дам.

Сколько в журнале ни работал – каждый раз одно и то же: захожу – мёртвый воздух – все спят. В таком порядке. А где же работа, где же суматоха, дым из задниц и непрекращающийся гомон стада? Нам всё это время вдали с телеэкранов? Там всегда носятся по головам друг друга, деятельность кипит, главред на всех орёт и все его сообщники и немо ненавидят, но делают свою работу, им копейка дорога, им дорог престиж каждого номера, и даже не просто делают, а вкалывают, забыв своё имя и имя собственной матери, со сверхурочными вкалывают, мигренями, разводами и всеми отсюда вытекающими. Все курят, матерятся и с каждой минутой теряют потенцию и желание жить, приобретая одновременно всё больше седины, фригидности и вожделения побыстрее выйти на пенсию, чтобы застрелиться. Вот в этом-то и романтика, что жизнь нелегка и совсем не справедлива! Фонтан идейной белиберды, лихорадка бессмысленного существования – именно так и должен, с такой подачей, жить журнал, в котором творятся великие дела, где пишут великие вещи.

А тот, в котором публиковалась моя ежемесячная колонка, он одним этим фактом уже велик, что я в нём печатаюсь, поэтому вся эта показная беготня не обязательна, но всё же желанна, хочется, чтобы тебя окружали достойные люди, как в голливудских кинолентах. Оттого каждый раз я сначала удивлялся, потом горевал, и наконец снова удивлялся: как в этой атмосфере нравственного и трудового разложения создаётся такой уникальный, ни на что не похожий, единственный в своём роде продукт?

Меня прервали: проводница принесла чай. Она с улыбкой, подобострастно поставила стакан на стол, вслед за ним швырнула пакетик с сахаром, как кость собаке, уже с чуть меньшей грацией, и сказала, совсем уже бесцеремонно:

– Три пятнадцать.

Меня никогда с первого раза не понимают.

– Я же просил без сахара, – заметил я, стараясь не обращать внимания на вызывающие нотки в её движениях.

– Просили без сахара, вот я вам его в чай и не добавляла. А этот – идёт в комплекте.

– И сколько он стоит? – поинтересовался я.

– Нет, ну точно оглох. Я же сказала: три пятнадцать.

– Я про сахар, женщина! Сахар – сколько стоит сахар?

– Сахар – пятнадцать копеек.

– Ну вот он мне и не нужен, – по глянцевої поверхности столика я брезгливо отодвинул пакетик к проводнице

– Я вам говорю, идёт в комплекте, – сказала она, сдвинув его обратно.

– То есть убрать его из комплекта никак не возможно?

– Никак, – кивнула она, словно речь шла об изменении заповедей.

– Так а чего же он тогда стоит – пятнадцать-то копеек?

Люди вокруг молчали, никто не проронил ни слова, хотя все видели этот нелепый спектакль, и это меня только бесило: чего они, языки, что ли, проглотили? Не видят, что человека обсчитывают? Нельзя, что ли, заступиться, сказать что-нибудь в мою защиту? Сказать ей, пусть сама, клуша, жрёт свой сахар? Это ж ведь тоже – совковый стародавний пережиток, когда все гурьбой набрасываются на кого-то, и он мне, пережиток этот, в отличие от других, нравился, в том, конечно, случае, если толпа была на моей стороне, ведь точно так же она могла восстать и против меня: ей не свойственна логика, она руководствуется эмоциями.

– Я вам что, бухгалтер, что ли, или, может, тот, кто придумывает цены? Откуда я знаю? Мне сказали, я вам и передаю: чай – три рубля, сахар – пятнадцать копеек. По отдельности нельзя. Значит, итого – три рубля...

– Да понял я, понял.

Я порылся в карманах, насчитал необходимую сумму и небрежно вручил её проводнице. Хмыкнув, она удалилась. Осталось чувство, как будто меня раздели и унизили, а вдобавок ещё и отчитали за сопротивление и нежелание быть раздетым и униженным. Я злился, но потом стыдливо опустил глаза и стал рассматривать свои грязные поношенные ботинки. Я в них истоптал пол-Европы, а сколько редакций я в них истоптал – не счесть. Сколько им лет? Пять? Семь? Наверное около девяти, да, потому что, когда мы расставались с моей, кажется, пятой девушкой, одной из причин (как будто мне нужны были её причины) она назвала мои ботинки. Сказала, будто я вечно хожу как бомж и не хочу покупать новые. Я действительно не хотел покупать новые и не видел в этом смысла – эти были удобные и с каждым годом, как по мне, становились только лучше.

Я никогда не любил идеальные вещи. Такие, от которых ещё пахнет неоткрытой коробкой, знаете? Покупать что-то новое всегда было для меня испытанием воли, пыткой. Когда я видел блеск и лоск – мне сразу же становилось плохо, я бледнел, и начиналась зевота. Ассоциации с людьми, которые всю свою жизнь батрачат, чего-то добиваясь, ищут денег, любви, власти, а в конце пути разочаровываются, потому что вдруг становится ясно, что они не там и не то искали и что в конце – только конец, возможно, ещё отпевание какое и ничего больше. Пара, может, ангелов неожиданно споют тебе «Прощание славянки» или куплет из Кобзона, но на этом и весь аттракцион. Американские горки резко заканчиваются, и вот ты уже лежишь без тела, душой одной в небытие, где тебя встретят по всем твоим земным заслугам и почестям. Не буду лукавить – я, конечно, тоже ведь чего-то ищу, чего-то добиваюсь своими рассказиками и своей писаниной? Да, но чего именно?

Хочу, чтобы меня признали, тут всё понятно. Так у каждого бездарного писателя: он жаждет, видите ли, успеха, хочет сделать себе имя. Я понимаю, это глупо, но ничего не могу с этим поделать. У меня руки связаны своим собственным помешательством. Как только мне говорят, что прочли где-то мою заметку и им понравилось, я сразу готов для этого человека сделать что угодно, даже встать на колени, даже вернуть ему долг, который не занимал. Этот человек становится моим кумиром. На какое-то время: до тех пор, пока его похвала не расправит мне крылья. А тогда я возношусь в небо и уже оттуда смотрю на поклонника вниз, презирая его и не вынося его присутствия. Я улетаю на другое поле собирать нектар.

И там меня, может, встречают ещё несколько пчёл, которые жужжат мне в уши хорошие слова о моём творчестве, о всех моих произведениях, отчего мне, шмелю, разумеется, становится только лучше и лучше, пока я не начну исходить амброзией и не взвоюсь ещё выше, в такую высь, где нет уже ни пчёл, ни цветов, ни, понятно, нектара. Там есть только воздух, живой, слава богу, но больше ничего нет (ещё есть солнечные лучи, которые подогревают меня, как жидкость в чашке, если вдруг от высоты озноб прокатится по моему телу), и поэтому вскоре даже воздух в моём одиночестве великолепия, грандиозности и бодхисаттвы мне надоедает и начинает казаться тусклым и неживым, мёртвым-мёртвым, таким мёртвым, что тяжелеет, давит на мои крылышки всё больше, я начинаю тонуть, заплетаясь в паутине мыслей, припадая ближе к земле, но сопротивляясь этому, пока окончательно с грохотом не падаю вниз, чтобы размозжиться, где мои крылья уже больно ломаются и отстёгиваются от меня, и вот я открываю дверь – и такой же мёртвый воздух захлёстывает меня, я пытаюсь войти, но спотыкаюсь о порог и практически падаю, и никто этого не замечает: все спят, как спали, и их не разбудить даже моим громким падением и стуком моих старых ботинок-разлучников.

Я бужу дизайнершу, что ближе ко мне. Она недовольно поднимает голову и смотрит на меня сквозь заспанные глаза, пытаюсь вспомнить, кто я. Слышно, как гудит

вентилятор. Жарко. Это всё солнце. Никакой логики, но чем ближе ты к земле и чем дальше от высокого, тем сильнее оно греет, а под землёй так, наверное, вообще...

– Да? – спрашивает её рот, но лицо с отпечатком карандаша на щеке и всё тело – они ничего не спрашивают, они ещё ничего не понимают.

– Где главред? – а сам думаю: спит же, как обычно, где-то, сука.

– Вышла по делам.

Не знаю, зачем я каждый раз о ней спрашиваю. Меня всё равно рассчитывает подпитый бухгалтер. Главред мне по сути дела не нужен ни в каком качестве.

– Давно?

– Не помню, – и она тоскливо ложится обратно на огрызок своего незаточенного карандаша, а я стою ещё некоторое время перед столом, вызывая в памяти её маникюр, который она только что от меня скрыла.

Это был неаккуратный маникюр, поцарапанный, с рубцами и не покрывающий всю площадь замечательных ногтей, как будто красила она их в спешке. Куда она спешила? Я вспоминаю неожиданно, как любил выждать момент, когда моя бывшая жена только-только наредила ногти, нанесла этот зловонный на них лак, и я тогда был волен делать с ней всё, что мне заблагорассудится: ей слишком дорог был её многочасовой труд, чтобы сопротивляться. Собственно, всё что угодно я с ней и вытворял. Так бы мог поступить и с данной куколкой. Это меня и подкупает, что маникюр её очень далёк от совершенства. Из-за того что он такой нелепый и неидеальный, он откликается во мне негой и заманчивой любовью, и я думаю: «Какой божественный маникюр! Как комедия у Данте!» Если бы я был девушкой, то обязательно делал бы такой же. И тогда с таким маникюром и этими ботинками мне бы никуда и не надо было возноситься, и крыльев мне б не нужно было – я был бы полон и цел, это было бы невероятно...

А так приходится компенсировать отсутствие во мне несовершенных деталей (кроме ботинок, которые по-своему, конечно, совершенны) текстами и теоретическим почитанием масс, которые со временем всё-таки должны разглядеть во мне талант и дарование. И тогда снова вырастут крылья, и я взметнусь...

Короче, я от этого страдал. От своей безукоризненности, от своего совершенства мне хотелось закопаться поглубже в землю, туда, где теплее. Наверное, я потому с этими ботинками и не расставался так долго, что хотел хотя бы как-то разбавить этот ненавистный мне образ. Галстук, которого нет, аккуратная причёска, тонкий взгляд, пронзающий вещи. Ещё я носил зауженные джинсы, а это лишний раз подчёркивало идеальное строение моих мускулистых ног, ведь я ко всему прочему был ещё и спортсменом. Да, впрочем, и рубашки я тоже носил в обlipку, что в свою очередь никоим образом не скрывало от мира моей дионисийской рельефности. Как я от этого страдал, вы бы знали!

Каждый день просыпался, волочился, как сегодня, в ванную комнату и смотрелся в зеркало по пять-десять минут, пытаюсь найти и разглядеть хоть один изъян. И знаете что? За все три десятка лет ни одного найти так и не получилось. Зато вот мои девушки, те обязательно что-то такое находили, чего никак не мог найти я сам. Только изюминки, дуры, не находили, искру мою божью не могли узреть. Да ну их к едрёной матери! Думать о них не хочу. Сейчас у меня хороший период. Нет абсолютно никого, я свободен от начала и до конца, во всех отношениях. Никто мне ничего не скажет, в упрёк не поставит, не дерзнёт. Я сам себе хозяин.

А как только выйдешь, туда, где видеокамеры и вирус, в люди или сядешь, например, на поезд – тут уж сразу цирк и начинается. Все, видите ли, резко становятся хмурыми, замыкаются в себе, облачаются в какие-то однотипные серые тряпки и едут себе и на тебя не смотрят, но этим отсутствием взгляда как раз тебя как будто бы и упрекают, и тебе становится неуютно, некомфортно, ты думаешь о себе плохо. Тебя опять гложет вина, и ты пытаешься разобраться, где же ты напортачил, в чём виноват... А я скажу тебе, в чём ты виноват. Ты виноват в том, что вышел сегодня из дома. Зачем

выходил? Что тебе дома не сиделось? Ты уже не понимаешь, где ты, да и до этого не понимал, но думать продолжаешь бесперебойно. Ты вспорхнувшая бабочка над залитым солнцем лугом, которую вот-вот раздавит чей-то неаккуратный шаг.

Там, дома, тебя никто не трогает, ты можешь сидеть в своём кресле и смотреть, как остывает или подогревается чай. Так нет – надо встать и куда-то попереться! Далась тебе эта редакция! Там всё равно все спят, а главреда никогда не бывает, и ты вообще не уверен, есть ли она на самом деле – этот редактор.

«Вот поэтому ты и едешь теперь здесь и рассматриваешь виновато свои ботинки, потому что, как я уже сказала, ты действительно грешен. На людях тебе смотрят в душу, мстят, а там, сам знаешь, ничего прекрасного – оттого они и хмурятся и начинают к тебе приставать или тебя сторониться». Да, думал я, от этого никуда не деться... Лицо у меня такое – компрометирующее. На меня посмотришь – сразу выпить хочется. А как выйду за порог – так сразу осуждение и пересуды. Так сразу и жить не особо-то хочется. Можно жить, и ты живёшь, но как-то вот не хочется.

Так же точно и с сахаром своим проводница эта пристала: комплект у неё! И надо было ей ко мне приклеиться! А ещё ведь как она этот сахар на столик швырнула – нет, вы видели? Да будь я бабой, я бы ей своим маникюром... Ох... А так, конечно, половой барьер – нельзя... Терпи.

Терплю и еду. Вот разве что не помешало бы всё-таки эти ботинки немного почистить, а то налипло на них хляби и помёта... Люди вокруг ведь тоже эту хлябь с помётом терпят и ничего не говорят, но обязательно о них думают и знают. А я к этой грязи вроде как попривык и уже не замечаю. Но всему же должна быть мера, в конце концов, мы помним об этом и об этом скорбим. Мы скорбим о мере, пока мера скорбит о нас. Ваби-саби, ва-са-би...

...Рис с сыром «Филадельфия» и угрём, завёрнутый в хрустящие листья нори, суши, обволакивающие твоё небо. Я бы поел, да только не голоден уже, пропал аппетит, когда я о чём-то сильно задумался. Такое бывает: если напряжённо подумаешь, то есть может перехотеться. Пить вот зато хочется. Заказать, что ли, чая? Я вспомнил, что чай уже заказал и мне даже принесли сахар в комплекте. Тьфу ты, бляха-муха! Ни спокойно думать, ни спокойно жить с этими мыслями, они только набивают голову, как мусорку, а дальше как хочешь, так с ними и разбирайся. И ничего с ними нельзя поделать, кроме как выдумать, продумать их всех вдоль и поперёк, как дорожку кокаина, до последнего вздоха, до самого конца их продумать и выдумать, чтобы ни следа от них не осталось, чтобы в голове воцарились пустота и идиотизм, и уж тогда будет счастье...

6

Я взял чай, снова машинально подул на него, вспомнив, как ещё утром сделал то же самое: взял чай, машинально на него подул, только ничего тогда не вспомнил. Тот чай был не очень вкусный, потому что и не чай он был вовсе, а чифир, или чифирь, по старорусской традиции уголовников-интеллигентов: за неделю в заварнике всё так настоялось, что теперь это было невозможно пить. Но я пил. И чем дольше пил, тем больше мыслей ко мне приходило, однако ни одной мысли не было о том, чтобы прекратить пить эту брагу хотя бы на некоторое время. Поэтому я пил и думал, и кривился от горечи, но продолжал думать и пить, потому как эти два действия казались настолько разумными и тесно связанными друг с другом и друг с другом переплетёнными, что невозможно было просто сидеть и ничего не делать, – вот я и пил.

Если бы кто-то увидел меня сегодня утром, он бы, конечно, вообразил: вот, на тебе, ещё один обломов у нашей страны нарисовался! Сидит, как падла, и ничего не делает. Растекается в своём кресле, дует на остывший чай – это единственные его занятия в этот час. Как бы человек этот, однако, был далёк от истины! Знал бы он, что у меня в голове, какие высокие концепции и намерения!

Кстати, главный герой «Обломова» мне с первых строк был симпатичен, отличный мужик: напряжённо мыслит и ничего не делает. Я начинал читать эту книгу, но слог, конечно, староват у Гончарова и плесенью покрыт. Поэтому я дочитал где-то до шестой страницы и отложил книгу в сторону, но закладку всё-таки сделал. Думал, когда-нибудь дочитаю.

Разумеется, так я её и не дочитал. Умение себя обманывать – великое искусство, а я в нём – великий знаток. Решу, бывает, в самом начале дня: надо пробежаться. И вот хожу по дому, туда-сюда, разглядываю углы и жду подходящего момента, когда захочется бежать, когда засосёт под ложечкой. Я подспудно знаю, что такой момент при благополучном стечении обстоятельств должен наступить, из скудного опыта своего знаю, но он всё никак не наступает и ничего у меня не сосёт нигде, а я никак всё же не сдаюсь и жду его наступления. И вот так могу проходить весь день из комнаты в комнату, пока не посмотрю вечером на часы и не пойму, что куда-либо бежать уже поздно и неуместно, а поэтому откладываю пробежку на следующий день. И так может продолжаться веками.

Но в остальном я человек не ленивый, хоть и люблю время от времени себя таким представлять. Мне нравится думать, что я ленив и беспечен, а мир вопреки всякой логике у моих ног, и я ничего для этого не делаю. Откровенно уклоняюсь от любой продуктивной деятельности, от любых обязанностей, как могу, и среди простого народа это как бы почитается, он, народ, восхищается всеми, кто умеет обеспечивать свой успех праздношатанием. Все думают, бытует мнение: вот он, бездельник, ничего не делает, ленится что-либо делать, а меж тем всё у него есть, да и сам он хорош собой, ни одного изъяна в зеркале, только разве что ботинки...

Эта мысль меня сегодня доконает. Ну так и что, что ботинки?.. Подумаешь! Всесезонные зато, ясно? Мне в них хорошо и комфортно. Я их носил, когда пил, и ношу теперь, когда бросил. С ними всякое происходило, как и со мной. И, наверное, они думают, что идеальны в нашей паре именно они, ботинки то есть, а я несовершенен, и потому наш союз срывается. Возможно, они тоже, как и я, чуть-чуть страдают от своего совершенства. Только вот они слепы, хоть и кожаные, а я, вопреки своей коже, не слеп и вижу на них царапины и грязь, которая налипла, должно быть, на той станции, где я садился.

Там было много луж, кусты, лютики и стройка. А где я садился? То-то и оно... Не помню. Как во сне: садился где-то точно, даже есть в уме некоторые детали: вот вокзал, вот билет беру, вот какой-то сатанист нигилистически вслед матюгнулся. Но что за вокзал, куда билет и почему матюгнулся – не вспоминается. Впрочем, это детали. Знать бы только, куда едем...

Я покрылся испариной, заёрзал на месте. Пассажир рядом, что спал, громко хрюкнул, проснулся на мгновение и тут же вновь растворился в грёзах, а я, поёрзав, замер совершенно и перестал дышать. Куда я еду? Ведь редакция-то в моём городе, и, чтобы до неё доехать, никуда ехать, собственно, не требуется, во всяком случае, не на поезде – это уж точно. Немного дискомфорта в затхлом метро или в переполненном троллейбусе, а ещё лучше – в автобусе – и ты на месте. Выходишь у красного кирпичного здания, проходишь на углу кафешку, где никогда нет посетителей, поднимаешься на четвёртый этаж, проходишь длинный мглистый коридор и в самом конце отворяешь дверь, и мёртвый воздух сносит тебя к противоположной стенке, и ты впечатываешься в неё без особого энтузиазма, но со смирением, ибо знаешь, что так происходит каждый раз, что это неотвратимо.

Я снова ёрзал. Поезд резко набирал скорость, и я вжался в скамью. Спина болела, копчик тоже болел, ломило всё тело, но ещё больше болел ум, потому что я не знал, куда это мы так быстро мчимся. А может, это я из другого как раз города в свой обратно-то и еду? Так ведь не уезжал я никуда... «Ты чай пить будешь или как?» – спросил голос.

Я вострепнулся, посмотрел на чай. В самом деле. Забыл. Задумался. Я в который раз поднёс чай к губам несмотря на молчаливый упрёк соседствовавших со мной мрачных пассажиров, что, мол, мы не пьём, так и ты не пей, но тут вспомнил: ведь я еду в Гонолес! Из своего города – в Гонолес! А Гонолес, если вы не знали (я тоже не знал), говорят, место выдуманное, якобы нет его на самом деле, вот я и решил – проверить... Ну, не то чтобы проверить, выдуманное оно или нет: ведь билеты-то туда продают, так, значит, и не совсем как бы выдуманное, вот! Но главное-то в том, что ехал я в редакцию. Не в свою, где прекрасно знаю, как всё происходит (то бишь не происходит), где знаю, сколько окон и сколько дверей, где знаком с каждым сонным вздохом дизайнеров, – а в неизвестную и до определённой степени выдуманную, как и сам этот Гонолес, в котором она расположилась.

Я недавно (вчера?) отправлял туда свою рукопись об этом месте, о Гонолесе, где развивал теорию, что города этого не существует хотя бы уже только потому, что сам я там ни разу не был. Им понравилось (как-то очень подозрительно быстро понравилось), и они сказали приезжать за гонораром, а заодно убедиться, что город не выдуманный, а самый что ни на есть настоящий. Вот и еду!

Я с радостью громко шлёпнул чай обратно на стол, так его и не испив, потом взял в руки сахар, повертел его и швырнул обратно, как проводница. Человек в шляпе напротив с осуждением посмотрел на меня и на сахар. Интересно, чего это он вылупился? Гиблые здесь все какие-то, недружелюбные. Харю б им начистить, да только интеллигентен я чрезмерно. Все, что ли, едут в Гонолес? Может, это коренные его жители, гоноле... Как правильно будет: гонолечане, гонольцы, го-но-ля-не? Название города – как венерическая болезнь...

Я снова посмотрел сквозь окно. Оно помутнело ещё больше, и теперь я видел только собственное смазанное отражение и отражение вагонного интерьера с вкраплениями задумчивых рож. Нет, ну в самом деле, чего они все такие страшные? Как будто всем поездом на поминки едут.

– Извините, – спросил я мужчину в шляпе, решив хоть как-то убить время и хоть что-то предпринять, – вы случаем не в Гонолес едете?

Он усмехнулся и ничего не сказал. Каков, однако, ублюдок, подумал я.

– А я в Гонолес, – сказал я. – Я слышал, что это место выдуманное. Вы ничего такого не слышали?

Мужчина демонстративно отвернулся, уставившись в окно, но там, кроме мутности и моего лица в отражении, он ничего не увидел. А поэтому я тоже повернулся к окну и стал разговаривать с его отблеском в стекле:

– А вы, – продолжил я себя веселить, – не на поминки случаем едете?

Мужчина резко посмотрел на меня, уже не в отражение, а сквозь прозрачное пространство между нами, которое немного дребезжало каким-то своим до боли знакомым мотивом, словно где-то я уже это видел, и строго спросил:

– Откуда вам это известно?

Про себя я хмыкнул, удивившись совпадению и канцелярскому построению его реплики, как будто он служащий НКВД, а вслух сказал:

– Да так... Угадал...

– Вы тоже знали Егора Кридовича?

Теперь уже усмехнулся я: «Егор Кридович». Какое нелепое имя. Хуже города. Тем более фамилия. Я ничего не сказал. Пусть гадает. Лицо мужчины подобрело и даже как-то покосилось от скорби.

– Хороший был мужик. Правда, пил много.

Да уж, подумал я, неудивительно теперь, что поминки. Хорошо, что я вовремя бросил.

– А с другой стороны, кто сейчас не пьёт? Сейчас такое время, понимаете? Если не пить, так лучше сразу удавиться – галстуком, например.

Я посмотрел на мужчину:
– Зачем, – говорю, – сразу галстуком?
– Ну не удавкой же. Хороший был, в общем, мужик... Только пил, конечно, много...

Мы какое-то время ехали молча. Тот, что справа, сопел, а стакан убаюкивающе звенел в медном подстаканнике.

– Но всё же откуда вы его знали? – спросил мужчина после некоторой паузы, вертя в руке откуда-то выуженную папиросу.

Я не знал, что ответить, поэтому в нравоучительном тоне ляпнул:

– Пьющих знают все, особенно – пьющие.

Он заговорщически подался вперёд и перешёл на шёпот:

– Так вы, вы тоже, значит, выпиваете?

– Выпивал, – поправил я безразлично и пояснил: – Завязал. Не моё.

Мужчина фыркнул и откинулся обратно. Потом снял шляпу, оголив карепельную шевелюру, и обиженно прокомментировал:

– Это, молодой человек, не ваше и не моё. Это – достояние цивилизации, и нельзя так пренебрежительно к этому относиться.

– Поверьте, я, как никто другой, это ремесло знаю, чту и безгранично уважаю, я в нём все грани изучил, к сожалению. Просто – не моё оно, вот и всё.

Мужчина снова подобрел и снова навис над столом своей тенью:

– Ну так а курить хотя бы будете? – он с надеждой показал папиросу. «Беломорканал Петербург» – значилось на ней голубым потёкшим шрифтом.

– Бросил, – сказал я. – Видите: чай пью. Курить – тоже не моё.

– А чай, значит, ваше? – он подозрительно сощурил глаза.

– Знаете, раз уж вы спросили... Я иногда, надо сказать, сомневаюсь. Иногда хочется чайка, а иногда нет. А ведь если моё, то, по идее, должно всегда хотеться? Как с женщинами...

– Вот именно! Вот именно! Ведь нет на свете женщины такой, которую бы всегда хотелось! Так что и чай – не ваше! – заключил он, возбуждённо ударив кулаком по ладони.

Все ещё сосредоточенней, чем прежде, стали смотреть мимо нас, и чувство вины усилилось. Как же распрекрасно было бы отсюда убраться к чёртовой матери. Куда-нибудь далеко или хотя бы на следующей станции, и плевать, что за станция. Чтобы избежать этого массового осуждения.

– Я говорю, – мужчина откашлялся, понизив голос, – не ваше это. Как и всё остальное. А если ничто не ваше, то, по той же логике, ваше – абсолютно всё. Потому как пустота – это наполненность, а отсутствие – всегда наличие чего-то. Понимаете?

Я понимал, наверное, но мне становилось неловко от того, как я одурачил этого человека. Ведь я не знаю никакого Егора, тем более Кридовича, а мужик едет его поминать, должно быть, друг его или коллега, я же так насмехаюсь над чувствами чужака...

– Вообще не знал я вашего Егора, – признался я, но это, кажется, не подействовало. Он только больше проникся ко мне симпатией.

– Так вот ведь в чём дело: его никто не знал. Он был таким непростым, потайным человеком, что никто его толком не знал, как узнать его ни пытались. Ведь пытались и поговорить, и напоить, и на чистую воду вывести, но так ни у кого и не получилось (получилось только напоить). Так никто его и не узнал, а он так и помер, непознанный, весь из себя тайный и мистический, в спиртовом угаре.

И всё-таки, думал я. Хорошо, что я бросил. Ведь и во мне были определённые тайны – к примеру, задатки пить не останавливаясь. Оттого теперь, видимо, и ищу

признания, что хочу до конца быть понятым, ведь какое, должно быть, поганое, отвратительное чувство – врезать дубаря непознанным мировой общественностью, неуслышанным.

Я так не хочу. Хочу иначе. Но хотеть – одно, а чтобы это произошло – другое. Поэтому, хоть они, пассажиры, и пытаются вменить мне какую-то призрачную вину непонятно в чём, я всё же себя таковым не считаю, потому что делаю всё возможное, чтобы меня услышали и признали. Пусть принесут мне крылья, и я полечу собирать прополис с только что распустившихся почек. Как *Bombus angustus*, за час буду опылять две тысячи шестьсот пятьдесят два цветка, и вокруг все будут поражаться: какой удивительный экземпляр! Как нетрудно его понять! Такого, мол, и похоронить не жалко!

Вот в том-то и дело, что признания ищу, но не сильно, честно сказать, поторапливаюсь, чтобы оно наступило. Потому что как только оно придёт, признание, свалится на мои плечи – так к тебе на поминки и поедут, потому что ты уже будешь понят, мир твой – понят, твои ботинки и чай твой остывший – поняты без остатка. Я потянулся к чаю, но в последнюю секунду передумал. Во-первых, он уже остыл, во-вторых, он так долго стоял, что точно превратился в чифир, а если это чифир и я его выпью – представьте, что у меня в голове начнётся. Будет как с утра. Целый оркестр без дирижёра – сплошной хаос и хамёж.

«Не буду я пить этот чай», – с такой отчаянной и решительной мыслью откинулся я обратно на спинку. Казалось, моё тело тоже приобретает квадратные очертания с прямыми углами, прямо как эта лавка. Что-то в ней, в этой лавке, было, я чувствовал энергию. Лавка, скамья... Вечно путаю. Никогда не знаю точной разницы. Вот такой вот я филолог с почти красным дипломом из лингвистического, ага. Кресло, стул, табуретка. Стакан, чашка, кружка. Юбка, платье. Церковь, храм, монастырь. Часовня. Сапоги, ботинки; штаны, трико. Всё это для меня слабо различимо и однотипно. Чтобы подобрать правильное слово, нужно напряжённо думать десять секунд – и то результат не гарантирован. Откуда такое – не знаю.

Помню, долго пытался понять разницу между курицей и петухом, и только тогда её уловил окончательно, когда один бешеный вестник зари погнался за мной вокруг бабушкиного дома. Не знаю, я ведь его не кастрировал и на куриц его не претендовал, кроме того, было мне всего каких-нибудь пять лет: что я мог сделать? Я ещё не был способен на ужасные, ничем не объяснимые поступки, но он всё равно за мной погнался, в ярости бья крыльями по собственному рыжему телу и надрывно кукарекая, как будто в заднице у него вот-вот должна была разорваться петарда. Я намотал несколько кругов вокруг дома, всё больше погружаясь в пучину отчаяния и уже даже не находя зад петуха с петардой забавным, потому как явственно ощущал, что ещё чуть-чуть – и его острый клюв кинжалом вседозволенности вонзится в мои мягкие ткани, и вот тогда уж я заору и завою – и на луну, и на всё, что под руку попадётся. Остановился я, лишь когда вдруг увидел петуха впереди и не понял, что за чертовщина: так ли я его обогнал в своей попытке вокруг дома от него убежать, что вот уже догнал почти бедную птицу сзади? Он ходил и как ни в чём не бывало приглядывался к курицам, выбирая себе принцессу посексапильнее. Мама с бабушкой потом, с трудом сдерживая смех, объяснили, что бежал он за мной первые, наверное, сантиметров тридцать, а всё остальное время меня гнала собственная фантазия.

Но мне понравилось. Тогда, наверное, вкус к бегу я и почувствовал. Ощущение неуловимости и огромной силы: что всегда, если надо, можно убежать и скрыться. От проблем, от девушек, петухов и томной жизни. Правда, бегать я стал, только когда бросил выпивать, но всё же – побежал ведь. Бежишь дистанцию, а сам представляешь петуха с острым клювом, настигающего сзади, – всё, ничего больше делать не надо, клянусь: новый рекорд обеспечен. И так всякий раз. Образ петуха, а уже прошло двадцать семь лет, ни разу не потускнел. Наоборот, кажется, только набрал яркости и краски.

Главное – в жизни не суетиться. Петух пусть бежит и суетится. А ты будь умнее. Встань да походи из комнаты в комнату – вдруг пробежаться захочешь? Или лучше – сядь в своё кресло и сиди до самого заката и не дёргайся.

– Жаль мужика, – протянул мужчина, рассматривая мой стакан.

– Жаль, – подтвердил я. – Может, чаю?

Мужчина улыбнулся, достал из пальто фляжку, открыл её, подмигнул и сделал пару жадных глотков. Потом он фляжку закрыл, несколько раз причмокнул и сказал:

– Вот это я понимаю. А вы говорите – чаю...

– И не совестно пить? После всего того, что произошло с Егором... Кридовичем?

– Так это ж поминки. Без этого, – он указательным пальцем щёлкнул себе по шее, – никак. Все уже там с самого утра зачехляются, а я вот только еду, жена раньше не отпускала. А потом ещё пешком ковылять. Может, успею на панихиду, если повезёт. Третий день справляют. А уже вечером – в ресторан. Если сейчас пить не начну, никого там потом не догонишь. Что ж мне потом, сидеть на них и смотреть, что ли?

«Это верно. На них смотреть неинтересно», – подумал я, но тут же подумал и другое: «А что тут верного? Очередной пьяница едет поминать своего похороненного пьяницу-друга, которого поминают все остальные его товарищи-пьяницы. Что ж тут хорошего? Что тут верного? Верно только то, что все они так и сгинут со своими флягами в руках, как их Егор этот... Кридович, земля ему прахом, именно прахом, потому что какой пух для алкоголиков?..»

Мне стало тошно от мыслей и от этого человека, который ничего не смыслит в трауре и в настоящем, беспробудном пьянстве, а только, что называется, «претендует». Я решил, что в связи с этим следует как можно скорее допить свой чай, снова потянулся к стакану, но так в руки и не взял, потому что подумал вот что: а что если он всё-таки ядовитый? Не зря же она его так аккуратно водрузила на стол? Нет, его я пить не буду. Но и не выбрасывать же... Три рубля пятнадцать копеек, как-никак. Это всё равно что взять деньги – и выкинуть на помойку. Или взять кусок ленинградского хлеба – и на глазах у бездомного скормить воронью. Так много чего можно попусту перевести, это не дело. Это морально наказуемые поступки.

Я взял стакан, взял сахар, положил сахар в карман, встал и быстро, мелкой походкой, чтобы на ходу не расплескать чай (вагон шатало из стороны в сторону), вышел в тамбур и там уже всей грудью с облегчением вздохнул. Вздохнул и тут же закашлялся: накурено было так, что в воздухе ложка стояла. Я налево – никого, направо – никого. Тогда я посмотрел прямо перед собой, а передо мной, на расстоянии вытянутой руки египтянина, стоял и курил тот мужчина в шляпе, что только что сидел напротив меня в вагоне.

– Долго едем, – сказал он как ни в чём не бывало, раскуривая беломор, подобно бухгалтеру из журнала.

Как это он меня обогнал? Что за шутки? Не нравятся мне такие шутки и здешние люди, особенно если едут на поминки или, там, панихиду.

– А вы здесь откуда? – спросил я с недоумением.

Его брови поднялись вверх. Он задумчиво посмотрел на меня и выдохнул три равнобедренных кольца:

– Оттуда же, собственно, откуда и вы, – он кивнул в сторону вагона.

– Я ж чуть ли не бегом сюда бежал! – возразил я, предварительно зная, что все мои возражения напрасны.

– А зря! Нечего бегать. Спешить-то некуда, всё равно едем со скоростью поезда, как ни беги. А Гонолес ваш ещё не скоро.

Я отошёл от мужчины подальше – к выходной двери, там было меньше дыма.

– Извините, но не могли бы вы затушить? – я показал на его беломор.

– Правильно говорите: «извините». Потому что в тамбур выходят не стоять и не любоваться. Здесь нечем любоваться и нечего стоять. Так что уж извольте. Вот докурю – и затушу. Без обид.

Какие обиды. Я на ослов не обижаюсь. Я отмахнулся и стал рассматривать потолок. На нём, как и дома, обитали чёрные точки, только эти были от затушенных сигарет и каких-то ещё манипуляций с дымом. Я с отвращением отвёл взгляд и снова упёрся им в мужчину: больше тут смотреть было некуда.

– Не скоро, значит, говорите?

– Ну как сказать, – мужчина задумался и посмотрел на тлеющую папиросу. – Минуты две-три. Я не засекал.

– Да я про Гонолес. До Гонолеса ещё далеко?

– А, это... Ну, всё относительно, вы же сами понимаете. Но вообще далеко, конечно. Да так далеко, что, может, и не доедем...

– В каком смысле? – насторожился я. Я вполне конкретно собирался до редакции добраться, таков был мой план.

– В прямом. Я к Егору в гости знаете сколько раз катался? Столько, что и не сосчитать, так вот его станция сразу после Гонолеса, а в то же время Гонолеса я никогда не видел. Вот вы спросили, и я теперь задумался, как же это так...

– Да уж более странно не это, а то, что вы только сейчас об этом задумались.

Мужчина промолчал, продолжая выпускать кольца. А потом добавил:

– Ну положим, что так. Может, и нет этого Гонолеса, и сплетни это всё, откуда вы знаете? – тут он с опаской посмотрел на меня. – Или вы там уже были?

– Не был, – признался я. – В первый раз еду. Иначе б у вас не спрашивал.

– Ну вот, значит, я, возможно, прав.

– Возможно, что и правы.

Поезд отбивал пятки, несясь в неизвестность. Мы стали думать каждый о своём. Во всяком случае, мне оттуда писали. И я читал об этом городе в интернете. И даже фотографии видел главной площади, с Лениным. Хотя что уж там – у нас ведь в каждом городе этот болван существует.

8

Все у нас города – одинаковые. Если сравнить с американскими, а только с ними я практически сравнивать и могу, потому что жил там какое-то время, так тоска за душу берёт, и вот почему. В Америке всё предсказуемо настолько, что и думать не надо. Там ты как бы заранее знаешь, что в каждом городе есть Пятая стрит и Седьмая авеню и что городская плоть, как пирог, аккуратно разрезана на квадраты. Один квартал прошёл, второй, третий – и чем дальше идёшь, тем больше хочется остановиться, потому что всё ты это уже видел, но любопытство толкает вперёд: что же там, за горизонтом? Может, всё-таки кончится этот плешистый день бездумного однообразия и город откроет перед пилигримом что-то неповторимое, единственное в своём роде? А он нет, никак не заканчивается, ничего не открывает, и квадрат следует за квадратом.

Потом садишься в траву Сентрал-парка, берёшь себе пива, поиски шедевров тебе обрыдли, и пьёшь, разглядывая деревья, потому что смысла куда-то ещё идти или что-то ещё смотреть – нет никакого. Увидев один квартал, ты увидел всю Америку. Тоска вроде бы, да. Но!

У нас! У нас скука одолевает ещё больше, она другого, более изощрённого толка, ведь на неё наслаивается ещё и разочарование от того, что логика напрочь в чём-либо отсутствует. Ну, то есть сначала ты радуешься, что её нет, а потом горюешь, ведь её отсутствие – не исключение, а всего лишь очередное скучное правило. Иди попробуй найди адрес и дом без карты. Полдня можешь шастать по закоулкам и так ничего и не найти или найти всё, кроме того, что тебе надо. Поначалу, конечно, весело. Разнообразие, непредсказуемость, суэта! Это подкупает, ты озаряешься оптимизмом. Но поезди так

разок-другой из города в город, как уже через неделю перестанешь замечать какую-либо между ними разницу. У них у всех дороги с неожиданным концом, кривые улицы, монолитные блоки, кислые физиономии и – Ленин где-то посередине, стоит, сволочь, улыбается. Смеётся всем в лицо.

Сгорая и одновременно досадуя я приложился к чаю и сделал большой глоток. Он был всё ещё тёплым, хотя таким же, как дома, горьким, и я заметил, что и тут липкое солнце сквозь окно ухитрилось влезть как раз в мою чашку и выпархивать оттуда рябью. Или всё-таки кружку, стакан?.. И почему он (она) у меня в руках?

«Стакан», – услышал я и не понял. «Стакан!» – снова повторил кто-то. Я в замешательстве уставился на мужчину, но тот курил и смотрел в окно, не обращая на меня внимания.

– Мужчина, стакан!

В дверях стояла проводница, нагнетая на своё лицо всё возможное в этом составе недовольство.

– Что – «стакан»? – сказал я, теряя терпение. Меня местные порядки начинали раздражать. – Я в курсе, что это стакан. Уже. Спасибо, а то б без вас не разобрался!

Мне она начинала действовать на нервы, я был готов радикально и по-философски грубить.

– Что вы от меня хотите? – сказал я с вызовом в голосе, но её наглость мою с лёгкостью перехлестнула:

– Я хочу, чтобы вы знали, что со стаканами в тамбур нельзя. Вооот, – и жирным пальцем с ужасным фиолетовым маникюром ткнула в прибитую к синей стене табличку. – Читать умеете?

Ну, знаете, это уже пахнет оскорблением, подумал я очень чётко, хотя внутри и порадовался тому факту, что с фамиллярно-пренебрежительного «ты» она перешла на пренебрежительно-фамиллярное «вы». Я почувствовал, как кровь закипает в моих жилах, как гонгом начинает стучать в висках, как немеют ноги. Я поглубже вдохнул, чтобы дать ей достойный отпор, рассказать ей всё про её родословную – с такой скоростью я ещё никогда не мыслил, потому что за считанные секунды вся моя речь уже была готова, – но к тому моменту, когда собрался я начать свою обличающую всех проводниц мира тираду, её уже и след простыл: она скрылась между вагонами, громко хлопнув дверью на прощанье.

Это хуже всего. Когда тебя с головы до пят облобызают, обчмырят, а ответить возможности не дадут – и так и оставят наедине со своими мыслями, которых теперь уже совсем неприлично много. И если раньше я планировал кое-как от них отбиться, избавиться, то теперь шансов у меня не оставалось, и я это хорошо понимал. Поэтому я приник спиной к табличке и стал слушать.

Как бы я ей ответил, а! Шалава, распутница! Вышла меня понукать. Ты видел её пальцы? Жирные, как будто она только что съела килограмм не итальянского лардо, а дешёвого деревенского сала.

А всё же, согласись, маникюрчик-то у неё был ничего. Ну да, маникюрчик ничего, но на этом её «ничего» и заканчивалось. Всё остальное ты видел. Да на неё и смотреть-то порядочному человеку стыдно, а я смотрел, не моргая, и никак от неё не прикрывался. Сколько теперь стыда во мне было... Стыдно и за неё, что такая уродилась, с жирными лоснящимися пальцами и слабостью к салу плохого качества, и за себя, что без стыда на неё пялился и ничего не мог ответить. Как идиот, застыл на полуслове, а она, довольная, так и ушла в свою каморку заваривать другим ядовитого чая...

Надо было вообще не дать ей пискнуть, не дать произнести ни одного пошлого звука. Почему ты этого не сделал? Как только послышалось про стакан, надо было взять его и, не глядя, выплеснуть ей в лицо. Мог же ведь? Мог, да только вот не сделал. Я этим славлюсь: что-то сделать могу, я могу сделать очень многое, но ничего не делаю, как Обломов, а потом приникаю спиной к какой стенке и начинаю думать – мог бы, не мог бы.

Да конечно мог бы! Плёвое дело. Я бы ей этим остывшим кипятком плеснул бы в рожу и стал бы посреди тамбура как вкопанный – смотреть, что она на это скажет. А она б ничего не сказала. Наверное, только угодливо бы спросила, не желаю ли ещё чайку без сахара плюс больше в него яд она класть не будет.

Я нащупал в кармане пакетик и стал думать, как с ним быть. Я его мял между пальцами, а бумага успокаивающе хрустела, и мысли становились всё глаже, всё покатистей, пока вконец не стихли, превратившись в мерный железный стук рельсов, пока рельеф весь не улетучился и не остался один вакуум. Рафинированный сахар. Белый, скромный, без претензий. Так можно было бы написать в анкете на знакомство: «Белый, скромный, без претензий». Ничего ему не надо. Он в этом пакетике может просуществовать ещё дольше, чем я, проводница и этот мужик вместе взятые. Если буду с ним аккуратен и получше где-нибудь спрячу, где его никто не найдёт, он переживёт ещё не одно поколение, этот сахар. Я становился спокойным и размеренным и даже отник от стены и стал с интересом осматривать тамбур.

Ничего особенного тут, конечно, не было. Взгляд блуждал, ни за что конкретно не цепляясь. Ну разве что пепельница, приваренная к стенке, переполненная бычками так, что не закрывалась. Несколько бычков в красной помаде валялись под ногами. Затем я осмотрел табличку, на которую указала проводница. Вот же всё-таки шалава... Ладно, ладно, что написано на табличке? Вникни, прочитай.

9

А там написано было: «В связи с участившимися в последнее время инцидентами комиссией по устранению инцидентов принято решение по поводу возможности искоренения дважды вышеупомянутых инцидентов. Комиссия заседала в ночь с пятницы на понедельник, и на следующий день, то есть в среду, было публично оглашено, а затем и запрототолировано следующее решение». Дальше шли какие-то даты, цифры, надписи взаимного посыла Серёги и Лёхи, я не стал вникать в тонкости, а потом, ниже, поверх металлической таблички была приклеена бумажка, словно каждый месяц они её тут меняли на новый свод правил, и уже на ней красными буквами выведено: «В ТАМБУРАХ ВАГОНОВ МЕЖДУНАРОДНОГО И МЕСТНОГО СООБЩЕНИЯ ВОСПРЕЩАЕТСЯ:

- Грубить без причины
 - Разжигать конфликты и сеять межнациональную рознь
 - Клеить жвачку под пепельницу, над пепельницей, а также по бокам от пепельницы
 - Пользоваться стоп-краном в качестве открывашки и увеселительного крюка
 - Иметь при себе предметы стеклотары
 - Говорить громче положенного
 - Находиться более трёх минут
 - Реализовывать товары любых категорий
 - Прислоняться к предметам интерьера.
- НАРУШЕНИЕ ЛЮБЫХ ПРАВИЛ ВЛЕЧЁТ ЗА СОБОЙ НЕКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ».**

Я отслонился. Некую ответственность... Как изящно сформулировано. Не придерёшься. Так тебе за жвачку под пепельницей могут, по идее, и пожизненное впаять, потому что никто ведь не уточнял, какая именно ответственность полагается. Я уже, если так подумать, проходил по двум статьям как минимум: слишком долгое здесь пребывание и та самая стеклотара. Грешник во плоти. Да, здесь, в тамбуре в этом, нужно быть начеку. А ещё – «увеселительный крюк». Это что ещё за хрень такая? Что за увеселительный крюк? Это сидела, значит, целая комиссия, и все они думали, как можно использовать стоп-кран, и вот кто-то встаёт, с жирными пальцами, и говорит, не грубя и не разжигая рознь: «Я считаю, – говорит он, – что нужно запретить использовать стоп-кран в качестве увеселительного крюка!» – и садится обратно на своё место, не произнося больше ни

слова. Все начинают перешёптываться. По залу разносится возбуждённый гул. Слышно, как то там, то тут раздаются тихие, но настойчивые вопросы: «Что за крюк? Что за увеселительный крюк?» Вся комиссия в лице актового зала озадачена, совещается сама с собой, люди недоумевают: да что же это за крюк такой? Но каждый, кто так думает, не осмеливается спросить выступавшего, что имелось в виду, потому что, очевидно, думает он, все остальные, кроме него самого и его соседей, в курсе и знают, о чём идёт речь. А поэтому если он сейчас встанет и спросит: «Извините, уважаемый, но что это ещё за крюк такой вы имели в виду?» – то весь зал поднимет его на смех, его репутация будет разрушена. Он распереживается, огорчится, запьёт, в ломбарде заложит последние трусы и потом ещё не один год коллеги будут над ним насмехаться.

Нет уж, так делать не стоит. И поэтому каждый продолжает сидеть и перешёптываться с соседями. Он, этот каждый, понимает, что, для того чтобы получить ответ, нужно каким-то образом достичь своим вопросом наиболее удалённых частей комиссии, ибо там ответ точно известен, где-нибудь на галёрке. Но соседи говорят, что их соседи и соседи их соседей – и так вплоть до самых окраин помещения – тоже ничего не знают ни о каком увеселительном крюке. И тогда он тем более не встаёт и не спрашивает, что это за крюк такой, потому что если столько людей о крюке не знает, то, должно быть, крюк этот представляет собой что-то ну настолько всем знакомое, что все просто-напросто даже и помыслить об этом не могут. И поэтому спустя пару минут люди в согласии начинают кивать, понимая, что стоп-кран так использовать действительно не стоит, неважно, как именно, слышен гул одобрения, пока глава комиссии не встаёт и не подводит итог прений:

– Товарищи, а ведь Буйнов прав – не стоит использовать кран в качестве увеселительного крюка. Предлагаю проголосовать.

Все руки взмывают ввысь. Единогласно. Предложенный запрет не встречает ни единого возражения, и вот теперь я вынужден стоять тут и гадать, что же всё-таки имелось в виду.

Мы проезжаем какие-то леса, и, всё ещё размышляя о крюке, я смотрю на мужчину, а он тем временем повернулся к центру тамбура, словно отгораживаясь от ветра из двери (никакого ветра из двери не дует), и, чуть сгорбившись, закуривает очередную по запаху подгнившую папироску.

– Мужчина, я ведь просил... – говорю я не громче положенного, стараясь не грубить без причины и не сеять рознь, хоть причина у меня и есть, притом очень увесистая.

Мужчина пристально, испытывающе смотрит на меня, раскуривая папиросу, как бы назло, и потом, закурив и расслабившись, в извинении пожимает плечами:

– С первой не накурился...

Пропади он пропадом, пусть курит. Меня другое сейчас беспокоит: то есть курить здесь можно, а стоять со стаканом – нельзя? Что за комиссия писала эти правила?! Я снова погружался в ненависть ко всему меня окружавшему. Вот эти синие стены – они холодны и безучастны, у таблички у этой – нет души, пол грязный, очень грязный, но грязны, конечно, и мои ботинки, поэтому чёрт с ним, с полом с этим, но потолок! Потоло-о-ок! Вот где, если на секунду забыть о проводнице, скопилась вся нечисть этого маршрута! Вы только посмотрите! Весь в чёрных оплавленных пластмассовых пятнах. Я вспомнил детство. Какой ужас! Однажды я по маминому совету воспользовался народным рецептом и приложил к вскочившему на заднице фурункулу лист свежей капусты – на следующее утро мы впопыхах уже мчались в хирургию: жопа сияла самыми разномастными чирьями, как флаг США – звёздами или вот как этот вот потолок – неблагородными пятнами. Итак, зачем тушить окурки о потолок? А они тушат. Поэтому некогда, должно быть, ослепительно белый, теперь он вдребезги чёрен, как моя ненависть.

Когда я это увидел и осознал, контрастная волна благодарности захлестнула меня: слава богу, что дома у меня не так! Дома у меня всего лишь несколько жучков, да и то,

если на них не смотреть, их в принципе и не будет. И, в сущности, жучки эти у меня только в спальне. Почему? Всё просто. В остальных комнатах потолок оклеен белыми обоями, и только в спальне он с неизвестной целью покрыт штукатуркой. «А не кажется ли тебе странным, что во всех комнатах на потолке обои, и только в спальне – штукатурка? Ты же не знаешь, что там, под этими обоями, верно? Может, там тоже – чёрные пятна и разводы от затушенных окурков, откуда тебе знать?» В самом деле, я этого не знаю. Нужно будет, как вернусь, обязательно кусочек одной обои отковырять и посмотреть, что там...

Но мужик этот, мужик этот нагл! Вот скотина! Чтоб он подавился своим «Беломорканалом»! Я смотрел на него с угрозой, а он смотрел мимо меня, как те, что в вагоне. Я не выдержал, в протесте одним махом допил остатки чая и поморщился – такой он был горький, тепловатый и невкусный. Я его выпил так, опрокинул весь стакан таким недовольным жестом, чтобы мужик понял, что я его целиком и полностью не поддерживаю, несмотря даже на то, что едет он на поминки и, вероятно, волнуется – вот и курит.

Я решительной походкой вышел из тамбура и, придерживаясь за скамейки, дошёл до своего места и сел. Было бы неплохо, подумал я, заказать ещё чаю. На сей раз буду пить его сразу, покуда он горячий и не горчит, и не стану долго думать о чём-то отвлечённом. Может, даже сыпану в него этого сахара, чтобы сахар, чуть что, не пережил нас с мужиком и проводницей. И пока я с недовольством скверно обслуженного клиента искал взглядом последнюю, я обратил внимание, что место мужчины было уже кем-то занято. Что за народ, подумал я. Не успеешь встать, как на твоё место тут же садятся. Слава богу, что не моё...

Я посмотрел на пассажира. Это был мужчина в шляпе, тот самый, который ещё как минуту назад при мне нахально закуривал второй беломор в тамбуре. Так-так, интересненько. Он решил позабавиться? Я улыбнулся. Ну-ну. Хочет сбить меня с толку, нагнать на меня хандру. Я ему, сычу, сейчас покажу настоящую забаву нашей фамилии. Я сжал в кармане кулак, так что хрустнули костяшки, но тут подумал, что, может, это всё-таки не он. У этого взгляд какой-то более рассеянный, склеротичный, и сам он фигурой своей менее импозантен. Да и с виду не так нагл, как тот, из тамбура.

Какая неудобная ситуация и скамейка. Я заёрзал. Пассажир справа, неприлично хрюкнув, проснулся. Он непонимающе и равнодушно посмотрел на меня, перевёл взгляд свой на мужчину, а потом медленно снова опустил голову на грудь, скособочившись, и задремал дальше. Ко мне пришла идея. Я сказал мужику в шляпе, как бы между делом:

– Да-а-а, хороший мужик был Егор Кридович...

Я хотел его проверить. Но ещё больше я жаждал проверить себя: всё ли в порядке с моей психикой, нигде ли я по пути сюда не потерял пару извилин?

Мужик с досадой причмокнул и посмотрел в окно, но там опять увидел только моё отражение, которому и ответил:

– Да, – говорит, – мужик был что надо... И всё же, откуда вы с ним знакомы? Что-то я вас не припомню.

Он стал подозрительно пялиться на мой подбородок. В подбородке моём, надо сказать, не было ничего необычного. Во времена простодушия я брился опаской, и тогда можно было увидеть, как он по-гречески разделён на две красивые половинки – многие женщины избирали меня именно из-за этой моей детали, нравилась им эта черта. Но теперь я обрёл мудрость и скрыл его под окладистой бородой, поэтому не знаю, чего он пялился на мой подбородок. Возможно, видел, как челюсть моя в нетерпении двигалась из стороны в сторону от непонимания происходящего.

Значит, это тот же самый, что и тамбуре...

Я вскочил, ничего не отвечая, и понёсся в тамбур. В тамбуре мужик в шляпе с удивлением обернулся и посмотрел на меня. Он одобрительно протянул мне пачку папирос:

– Передумали?

Да чтоб тебя! Я побежал обратно, сел на своё место, зажмурил глаза до белых молний под веками, и с силой и надеждой медленно их наконец открыл: передо мной сидел всё тот же мужчина, в сером тряпье, тёмно-коричневых штанах, с туманным рассеянным взглядом человека, едущего на поминки, чуть менее импозантный, чем тот, что в тамбуре, но такой же веский и неуловимый, хотя и без дерзости в ебале. Меня прошиб пот. Я снова выбежал в тамбур. Мужчина, казалось, меня ждал. Он поочерёдно то курил, то прикладывался к фляжке.

– Чего это вы туда-сюда бегаете?

– А чего это вы тут стоите?! – воскликнул я в отчаянии.

Мужик сделал ещё один глоток, ещё одну затяжку.

– Позвольте, а где ж мне стоять?

– А не надо стоять – вы бы сели на своё место и сидели.

– Ну, если б можно было в вагонах курить, так, будьте уверены, я бы и не подумал вставать.

До меня дошло. Хохоча, я сорвал с него головной убор и метнулся обратно в вагон. Мужчина, осунувшись, сидел без шляпы. Увидев её у меня, он радостно всплеснул руками и засмеялся:

– Так вот где она! Где же вы её нашли?

Я ничего не ответил. Я покорно отдал ему шляпу и сам медленно и обречённо поплёлся назад. Разумеется, мужчина всё так же курил, вплотную подбираясь к тому месту, где в обычных сигаретах бывал фильтр. На сей раз он был озадачен:

– Вы знаете... Как вас, кстати, зовут?

Я приник к стене. Бесполезно. Её холод приятно растекался по моей разгорячённой, потной спине. Наверное, всё-таки свихнулся. Астролог предупреждала, чтобы я был осторожнее и не ввязывался ни в какие авантюры, как люблю. А всё-таки, видать, во что-то ввязался – и вот, схожу с ума в поезде, идущем...

– А куда идёт этот поезд? Какая конечная? – спросил я, проигнорировав вопрос.

– Тут дело не в том, куда он идёт, а в том, когда же он куда-нибудь приедет, – он сделал затяжку и очередной глоток, потом рукавом вытер губы и сказал: – Я уже и так опоздал, мне и так неудобно, а он, как назло, ползёт сегодня как черепаха... Так вот, что я говорил... В пустоте наполненность, а в наполненности – ничего... В общем, вы случаем не знаете... Я, кажется, потерял свою шляпу. Вы нигде её не видели?

Я весь почернел от злости и почувствовал, что предохранительный клапан моей вменяемости снят и что нет пути обратно. Кулак мой свернулся в кармане в плотный, твёрдый клубок возмездия, потом как-то сам из кармана достался, готовый к необратимому насилию над собеседником, я размахнулся, не в силах остановить грядущее, но вдруг неизвестная сила швырнула меня в противоположную стену. Я летел в неё и думал, какой у меня, должно быть, глупый вид и не поранюсь ли пустым стаканом, который, по всей видимости, до сих пор в моих руках, но треска стекла я не услышал, а услышал лишь, как моё тело глухим хрустом костей рухнуло на пол, расстелившись во весь рост ста восьмидесяти одного сантиметра и уткнувшись лицом в бычки с губной помадой. А в голове всё вертелось: куда же делся стакан? Где я его посеял? Совсем забыл о стакане! Сейчас выйдет проводница и будет ругать, отчитывать меня, как ребёнка. Что я ей скажу, когда валяюсь на полу, беззащитный? Вся моя гордость, вся честь куда-то испарилась, а крылья в который раз обломались, так и не возникнув.

Предупреждала же астролог: не ввязывайся! Нет, ввязался! И надо было оно мне? Поехал за признанием в город с венерическим названием! Поближе, что ли, ничего нет? Какая газетёнка, может, или проспект какой в преддверии выборов, или брошюра. Ты же помнишь: девятого августа президентские выборы? Нет, если быть точным, то перевыборы, потому что все мы знаем, как они проходили у нас с девяносто четвёртого года. Будь ответственным членом гражданского общества, не смей перед лицом

смыслообразующих событий погружаться в свою сраную поэзию или что ты там пишешь – прозочку свою! Пиши политстатьи, чтоб никто их не читал, а потом тебе памятник воздвигнут, где-нибудь недалеко от Ленина: писал всю жизнь в пустоту, думая, что та суть наполненность. Так ведь можно стать известным? Это и будет моя изюминка. Вместе с тем ещё, что клал я, по большому счёту, на эти выборы, ну или перевыборы, как угодно. И пускай только попробуют не признать! Пусть только попробуют, гниды...

Но я прочитал письмо из редакции и возрадовался, потерял сразу всякую бдительность. В нём говорилось, что мой роман принят к публикации. Впервые я читал такое не в книгах о чужом успехе. Будут печатать частями, в каждом выпуске. Тираж у них небольшой, но свою публику, редакционная коллегия уверяла, найду. Потому что в Гонолесе народ читающий и любознательный, они любят «всякое такое». «Всякое такое» меня насторожило и должно было насторожить настолько, чтобы я никуда в итоге не поехал и остался дома – в своём кресле, под своим потолком с обоями. Но они хвалили меня и предлагали приехать за гонораром. Они знали мою слабость: я падок на деньги и тщеславие. Я не мог отказаться.

Я лежал на полу и мысленно голосил. Тело разваливалось на кусочки. Хорошо приложился. Что же это было? Открылась дверь, вошла проводница. Она посмотрела на меня с презрением:

– Всё ясно.

И прошла дальше к наружной двери, отодвинув мужчину, не стеснявшегося при ней гасить окурки о потолок, и как бы между делом бросив ему через плечо:

– И не стыдно вам человека спаивать?

Она открыла дверь и спустила вниз лестницу, а я тем временем поднялся, отряхнулся, сказал мужчине, что шляпа его – в вагоне, на каком-то другом мужчине, если вдруг он её тоже ищет, и вышел.

10

Зря я пил тот чай. Не поеду я в Гонолес. Всё-таки не поеду. Лучше поздно, чем никогда. Я выйду на этой станции, и дальше я никуда не поеду.

– Мужчина, – услышал я сзади, – Гонолес дальше! Это Симферополь!

Я обернулся, чтобы увидеть растерянное лицо проводницы (как быстро сменялись её образы!), и только и сказал:

– Стакан должен быть на моём столике.

Я снова посмотрел вперёд, отрекаясь от каких-либо связей со всем этим комичным вздором, и пошёл – к вокзалу. И пока я шёл, я думал о чём-то маловажном, о чём-то таком, о чём можно было не думать, но я не знал, чем бы ещё заняться, кроме как своими мыслями в пылающих извилинах, в моём скорченном мозгу. Я шёл и потел, потел всё больше, и скоро с меня уже стекали капли, и я думал: ну вот, докатился ты до такой жизни. Тебя никто не заставлял, ты сам сделал свой выбор.

Но ведь все писатели, художники, музыканты проходили через лишения судьбы, прежде чем достичь вершины. Так или не так? Прав я или не прав? В ответ я слышал молчание сфер и звуки уходящего вдаль поезда. Катись себе по Малой Спасской. Господь с тобой. Мне всё это неинтересно, потому что я весь уже насквозь промок, хоть до вокзала и рукой подать.

Я попытался на глаз оценить расстояние. Так, нужно перейти пять путей, потом одолеть два киоска, площадь – с Лениным, понятное дело, – потом ещё одну палатку и – вот тебе вокзал. Что-то около трёхсот метров, прикинул я и порадовался, что здание так близко. Зайду, возьму билет обратно – до Минска, может, ещё возьму чебурек, и не буду больше ни о чём думать. Потому что думать можно без конца: каким образом, например, направляясь в Гонолес, я очутился в Симферополе?

А лучше нет, не буду я брать билет. Хреновы поезда! Лучше словлю такси у входа, и поеду как человек. Хотя в такси, если попадётся какой-нибудь бомбила или кавказец,

или то и другое в одном лице, мало того, что обманет, так ещё и трещать будет всю дорогу, а дорога из Симферополя, куда ни едь, неблизкая. Нет, лучше уж сяду в какой-нибудь полупустой автобус. А ещё лучше, конечно, было бы оказаться в самолёте. На них летать приятно и разговаривать там не обязательно. Пару часов – и я дома. Но где аэропорт и почём билеты? В редакции, если узнают, как безалаберно я транжирю деньги, возможно, откажутся от идеи вручать мне гонорар. У нас ведь как принято: до гробовой доски наскребать по копейке себе на горшок для опорожнения, экономность не просто почитается, а принимается за нечто само собой разумеющееся, на широкую же ногу у нас живёт только чиновья. Поэтому лучше всё-таки автобус...

Переходя второй путь, я обратил внимание, что вспотел уже настолько, что с меня откровенно лило на асфальт. Я посмотрел под ноги и увидел там лужи. Я покраснел. Как же так! На глазах у всех – опозориться! Бестолочь! Негодяй! Телекобт!

Я заметил, как кто-то пробегает мимо меня с зонтиком, и поднял глаза к небу. Боже, так это дождь! Дождь накрывает меня ручьями! И я, значит, не потею, и не опозорен я прилюдно! Это всего лишь дождь! Посмотри на это грубое небо! Оно выливает на тебя свою влагу, так будь благодарен за это. Будь благодарен за то, что крылья твои отломались, не успев отрасти, ибо не так больно падение с высоты своего роста, как больно оно с высоты небес...

Но если бы во мне кто-то нашёл изюминку, так стоял бы я разве сейчас здесь, промокая и бесцельно растворяясь в тумане капель? Мои бывшие девушки – ни одна так и не смогла найти это нечто особое, кроме подбородка моего, что выделяет меня из толпы посредственностей, и поэтому все они поуходили кто куда, разбрелись по углам и переулкам существования. Но они мне и не нужны. Мне лучше, чтобы люди, те, которых я никогда в своей жизни не видел, посторонние, которых не встречал, вскричали, будто дотла знают моё исподнее и что готовы открыть меня и мой талант всему Земному шару. Вот тогда бы я взлетел без страха упасть, а когда бы упал – так уже было б поздно страшиться. Над серыми массами людей – дзыыыынь! – парил бы я и сам говорил бы дождю, где ему падать: вот сюда падай, а сюда не надо, не видишь, человек без зонтика пытается дойти до вокзала? Я бы долго и без усталости – дзыыыынь! – наращивал скорость и устремлялся вдаль – дзыыыыынь! – пока однажды машинист поезда на пути номер два что-то не закричал из окошка, увидав эфемерную тень меж двух рельсов, и не дёрнул бы сразу за два рычага: за гудок – дзыыыыынь! – и за стоп-кран в виде увеселительного крюка...

11

Я разомкнул веки, выныривая откуда-то и куда-то, только чтобы понять, что глаза всё это время были открыты, – так что же я, спрашивается, разомкнул? Спина моя прилипла к креслу, я часто дышал. Что это было? Сколько прошло дней? Я уже туда ездил или только собираюсь? Я посмотрел на монстера в углу комнаты, потом на опунцию рядом со мной... Может, флора даст мне ответ. Мне нравились опунции. Нравились потому, что росли в основном в Мексике, а в Мексике я не бывал. Надо побывать в Мексике. У меня много знакомых туда летало, и никто ничего толком об этой стране рассказать не мог, потому что они круглые сутки там только и делали, что пили текилу, жрали кактусы и всячески безбожно угорали. Оттого Мексика представлялась мне загадочной и необъяснимой, по-кридовичски непонятой. Я бы с удовольствием попрыгал там в зарослях чапарала, как Кастанеда, уелся бы пейотля тоже и потом бы всю ночь разговаривал с прозрачной добродушной собакой. Так там, в его книге, было? Мне жуть как захотелось в Мексику, я уже было потянулся за телефоном – выбрать какой-нибудь тур, но вспомнил, что телефон остался в спальне и вообще пандемия. Снова раздался звонок.

Ну обожди у меня. Вот узнаю, какой нечестивец в такую рань обрывает мне линию, – напушу на него скверную порчу, несварение, допустим, пусть помучается, падаль, пусть

страшно ему станет и беспокойно. «А вдруг что-то срочное?» – раздался гнусный голос, но я его тут же погасил, как сильный человек гасит своим величием слабого, – мыслями о Мексике. Потом я вспомнил Канаду. В Канаде я был. Там в зимнюю пургу я праздновал свой двадцать восьмой день рождения. Где-то затерянный среди Скалистых гор лежал я в джакузи и пил пиво с незнакомками, пока нас заносил снег, а потом уже в Эдмонтоне спустя сутки накидывался с другом палёной русской водкой. Но то другая история... Это уже сколько?.. Четыре года прошло... А в следующем году будет пять. Как быстро идёт время.

Я раньше не придавал этому значения, но после третьего десятка оно понеслось с такой скоростью, что мне стало тревожно, не по себе. Недели теперь пролетали как раньше дни, а год в тридцать лет можно было приравнять к одному месяцу в двадцать. Это было подло, низко, но я не знал, кого винить. Подло – да, низко – да, однако, позвольте, кто этот подлец и низкий мерзавец, что заставляет меня глотать сутки пачками? Может, всё дело в том, что я бросил выпивку? Ну, если бы не бросил, так до тридцати бы, наверное, и не дожил, поэтому что бросил – это правильно. Дело в другом. Так в чём же?

Мне папа говорил – а он всегда был меня на тридцать три года старше, он созерцал меня с высоты своих лет, – что время, оно такое – летит, не успеваешь заметить. Я удивлялся. Время для меня тогда было бесконечным, долгим, залежавшимся, как какой-нибудь продукт в непопулярном супермаркете, да и я, наверное, тоже мнил себя относительно бессмертным. Я говорил: папа, успокойся, это тебе показалось, это чушь... У меня, говорил я, время не то что стоит на месте, оно, можно сказать, даже идёт вспять – так медленно оно тянется. Я ему, в общем, не верил или не хотел верить. Потому что это несправедливо – как так? Один живёт быстрее, чем другой, который живёт намного медленнее первого. Что это за дебилизм такой? По какому праву?

Нет, всё должно быть иначе. Только вот как? Ну как-как, если спросите, то я вам отвечу. Должно быть так: встречи назначаются исключительно по месту, без привязки ко времени, то есть я говорю, например: «Встречаемся у городской ратуши». Всё. Таким образом, никто никого не ждёт, даже если кто-то опоздал на неделю, потому что времени всё равно не существует – как кто-то может ждать? Ну или время существует, но оно у всех идёт одинаково медленно, как будто его и нет вовсе, и многие даже не догадываются, что оно есть. Идёт медленно и вязко, неуверенным шагом в пещерное будущее. А как о нём догадаешься? Кроме старости, смерти и часов я нигде не вижу признаков времени. Мы сами, человек сам себе придумывает проблемы, как он придумал часы и минуты. Можно было ничего не придумывать и жить, как жили. Ориентироваться по Солнцу, Луне, морщинах в уголках глаз и звёздам. Вот кто-то назвал эту кучку огоньков Кассиопеей, а эту – Стрельцом, и я вглядываюсь в невидимые линии, пытаюсь мысленно провести хоть один между бледными точками на небосводе пунктир и представить: что думал древний человек, когда давал этим фигурам названия?

Это мне неизвестно, зато что я знаю наверняка, так это что Солнце в момент моего рождения, когда появлялась моя плоть и мой дух зарождался на этом свете, оказалось как раз в Стрельце, где-то в районе его мошонки. Гороскоп это лишний раз подтверждал. Всё так и было: я действительно нетерпелив, люблю большие шумные компании, внимание люблю, мне нужно, как воздух, признание, я вспыльчив и прочее. То есть – самый типичный Стрелец. Всё как будто писали с меня под копирку, ни одного лживого слова. Но каждую неделю гороскоп у них немного разнится и меняется. Может, и сейчас почитать? Я посмотрел в коридор. Обычно все газеты (то есть одна или её половина) валяются у меня именно там – на тот случай, если вдруг приду с дождя и нужно будет под грязную обувь что-нибудь срочно подстелить. Но на полу ничего не было, кроме балансборда и утюга, которым я уже как вторую неделю намеревался погладить рубашку.

Хм... Целые две недели? Значит, не выходил две недели? Ну да, получается, не выходил, раз рубашку так и не погладил. Это раньше я мог выйти в мятом, плевать, а

теперь набрался ума и стыдливости и позволить себе такой роскоши более не могу. Вернее, это она мне не позволяет – совесть.

А перед этими двумя неделями – куда ж я выходил? Я стал с интересом перебирать в памяти все места, которые посещал в начале месяца. Я выходил в парк Уго Чавеса. Также я выходил в парк Обрывистый имени Ким Чен Ына. Там на меня нападали вороны, это я хорошо запомнил.

Я прогуливался с утра в воскресенье, в приподнятом настроении, с уверенностью в собственной исключительности почему-то, и остановился у ивы послушать, как где-то в её листьях красиво щебечет жаворонок или синица, но тут подлетела неухоженная потрёпанная ворона и стала каркать, перебивая всю красоту птичьего пения. Я на неё ругнулся, махнул, расстроенный, рукой и побрёл дальше – сквозь парк, устремляясь ко МКАДу, где по обыкновению ворон не водилось, где водились только смог и шум автомобилей. Я думал, она отстанет, увидев, что я отказался от идеи слушать хрустальные трели, но она не отставала, а преследовала меня вплоть до самой кольцевой, зазывая при этом своих сородичей. Под конец в небе парило не меньше тридцати ворон, и все с высоты вероломно обдавали меня своим могучим карканьем, в чём-то осуждая, а я шёл и продолжал про себя ругаться: да что я вам, скотинам, сделал?

В тот день я невзлюбил ворон и по сей день их не люблю. Так вот, ещё я выходил на почту: мне приходила какая-то посылка из-за рубежа, кажется, копия оригинальной рукописи Керуака, – там я и купил очередной номер «Звезды». Но почему она сейчас не лежала, как положено негодному печатному слову, в коридоре? Я стал смотреть вокруг и вместо неё обнаружил под ногами «Книгу полезных советов» пятьдесят четвёртого года выпуска. Хорошо, подумал я, что теперь сижу здесь и что мне не нужно выбирать из семи книг, которые я сейчас читаю одновременно. Возьму-ка, что бог послал.

Я поднял книгу и стряхнул с неё толстый слой пыли. Давно ли она здесь валяется? Она по наследству перешла моей маме от бабушки, а до начала пандемии я успел прихватить её у мамы, сказал, что почитаю. Получалось, что соврал, потому что так к ней и не притронулся. Как чего-то нет, так, кажется, без этого жить не можешь, а как появляется – думаешь: боже, на кой чёрт оно мне сдалось? Сейчас исправлюсь.

Я открыл книгу наугад, на шестьдесят шестой странице. Читаю: «В щах составной частью овощного гарнира, преобладающей по количеству, является капуста белокочанная (свежая или квашеная), савойская, а также капустная рассада (молодая)». Я сглотнул, в животе заурчало. Нет, надо всё-таки встать и что-нибудь приготовить. Ты ничего не завтракал, а если хочешь дожить хотя бы до конца пандемии, то есть придётся, никуда не денешься.

Да, наверное, ещё долго придётся, очень долго, потому что конца эпидемии не предвидится никакого. Уже полгода торчу здесь, как истукан, практически безвылазно, только разве что в парк вот или на почту, и ничего лучше с тех пор не стало, нам никто не сказал: «Добро пожаловать в безопасный мир, выходите». Каждый день умирает по несколько тысяч человек. Ежедневно в мир иной отходит парочка «Титаников». И это я ещё отстранился от новостей, это я сужу только по слухам, до меня доходящим. Если б я читал или смотрел новости постоянно, так меня б давно грусть заела, я бы давно стал меланхоличным и безэмоциональным. Дзыыыынь!

Может, это папа звонит? Ну перезвонит, если что срочное. Лень вставать, сказал же. Даже вон – пожрать себе приготовить не могу, что уже говорить о каких-то срочных звонках. Не буду отвечать. Подожду. Если пять звонков и меньше – значит, ничего срочного. Значит, кто-то от нечего делать взял трубку и хочет потрепать языком, ну или просто номером ошибся. Одну цифру с похмелья перепутал и звонит, думает, что на поминки звонит, к Егору Кридовичу, а на самом деле мне – писателю, тревожит моё писательское существование, которое и без того тревожно. Конечно, тревожно, до сих пор же ни одной моей книги не выпустили, как тут быть спокойным. Если же звонков от пяти до семи – тогда это по какому-нибудь делу, но не такому важному, чтобы прямо вот сломя

голову бежать и отвечать сейчас на их звонок. А уж если больше десяти – тогда беда. Тогда действительно что-то произошло недоброе. Я знаю: люди о хорошем редко так трезвонят, они так трезвонят только о чём-нибудь плохом, а если мне звонят, чтобы сообщить плохие вести, – лучше мне об этом и не знать. Мне и так забот хватает, подумал я и внезапно посмотрел на чайный столик: что-то привлекло моё внимание.

Под чашкой (кружкой? стаканом?) остывшего чая лежала и непринуждённо смотрела своим заглавием в сторону ангелов «Звезда», целая, целёхенькая, нетронутая. Я отложил «Книгу полезных советов» и взял в руки газету. Первая статья называлась «Пад крыльями анёла». В школе мы учили белорусский, да, и мне знакомы многие интересные словечки вроде: «пыска», «хмарачосы», «плявузгаць», «недатыкальнасць» – но, хоть убей, я не знал, что такое «анёл». Хотя слово, я вынужден был сам с собой согласиться, забавное. М-да, забавное, ничего не скажешь. Анёл, анёл, анёл... Забавное и такое... немножко матюгальное, да? Вот если сказать кому в лицо, кратко и тихо, набожно так, как сатанист на вокзале: «Вы, гондон, подобны анёлу», – что он, интересно, ответит? На «анёл» больше обидится или всё-таки на «гондона»? Ничего, наверное, и не ответит, а только замахнётся, как я в вагоне, и треснет мне в лицо стамеской или увеселительным крюком. Я на всякий случай ощупал лицо и подбородок. Хорошо, всё хорошо. Ни синяков, ни ушибов. Ничего не болит. А то мало ли...

Я быстро пролистал газету в поисках гороскопа. «ЗАО “Белреализация” объявляет аукцион», «Гарызонт, Камволь и Крыён», «Я ўсё сам сабе ўжо даказаў», «Мясцовыя віды паліва», «Отчёт о прибылях и убытках». Я дошёл до конца газеты, пытаюсь тщетно понять логику, по которой часть статей была на русском, часть – на белорусском, но гороскопа так и не нашлось. Тогда я пролистал газету ещё раз, в обратном направлении, – гороскоп не появился. Я в смятении отбросил её на диван. Нет так нет. Дался мне тот гороскоп. Я и так всё про себя знаю, каждый свой тайник, красивый и не очень, и могу без усилий предречь ближайшее будущее, вот, слушайте: остаток недели я никуда не выйду и буду продолжать думать о признании, литературном бессмертии и культурной благодати.

А как же гонорар, как же редакция! Я чуть было не встал от внутреннего волнения, но заставил себя успокоиться и глубоко три раза вдохнуть. Чего это я так разволновался? В печать первую часть романа уже отправили – значит, будут и другие. Не могут же они отпечатать первую часть, написать «Продолжение следует...», а потом никакого продолжения не опубликовать? Не могут и не станут, потому что народ восстанет, сейчас в редакциях себе такого не позволяют, какой бы мёртвый воздух в них не царствовал. А гонорар – что гонорар? Гонорар подождёт до лучших времён. В их порядочности я не сомневаюсь: ведь сами же наперёд предложили всё выплатить, я их не о чём не просил. Не пропьют же они его, в самом деле...

12

И тут я опять всполошился и почти встал на прямые ноги, потому что понял: ещё как пропьют, если уже – не пропили!.. Ну, во всяком случае, если пропили – так и дёргаться тогда нечего. А если ещё пропьют – то, может, успею? Как знать... Главное всё-таки – чтобы напечатали. Я ещё раз взял в руки газету, с раздражением её пролистал и, не найдя в ней ничего интересного, положил на стол, где на сей раз заметил засаленный пакетик сахара.

Я аккуратно поднял его и посмотрел на просвет, но ничего особенного там не увидел. Не знаю, что я хотел там увидеть. Тогда я помял его между пальцев. Сахар скрипел, как на камбоджийском пляже. Я сильнее и сильнее его растирал, вспоминая белый песок под ногами, по которому ходил пару лет назад, как блаженный. Вот бы оказаться сейчас даже не в Симферополе – хоть и там, бесспорно, хорошо и тепло, – а в Камбодже, на том пляже, где песок не хрустит, а скрипит – большая разница. Под пальмами. Всосаться в кокос и испивать его влагу, без пауз и антрактов. Там меня ничто не будет беспокоить, там я буду ровен и безучастен...

«А то ты здесь сильно напрягаешься», – сказала совесть, в её словах послышался укор. «Представь себе, – ответил я, – мне непросто. Я полгода в заточении. Ещё чуть-чуть – и у меня совсем поедет крыша». – «Ах ты, бедненький какой! Поедет крыша! Вы посмотрите на него! Как с ним обошлась судьба! Ай-ай-ай». – «Ты бы вот не паясничала, а лучше сказала бы мне, почём сейчас билеты в Камбоджу или в Мексику, например. В Канаде-то я ведь был... Впрочем, откуда тебе знать...»

Она ничего не ответила. Перед мысленным взором моим замаячили вперебивку какие-то безобразные римские цифры, и хоть неясно было, что они значат, но по количеству чёрточек я сразу догадался, что суммы эти громадны и что пока мне не выдадут весь гонорар, мне нечего и рассчитывать на заграничные поездки. Хотя что это я несу за окоlesiцу такую... Ты где живёшь, братишка? Гонорара этого разве что на бутылку и хватит, если сразу сто тысяч тираж не отпечатают, конечно. А они не отпечатают, не обольщайся. И вообще, ты человек зажиточный, чего прибедняться? При желании я мог бы снять пол какого-нибудь пятизвёздочного отеля на Карибах или в Алжире под полный пансион со шлюхами, и быть там и ни о чём не думать.

Но это с оговорками: при условии, что границы не закрыты, – посмотри вокруг, все уже давно забаррикадировались, среди всех стран только одна Беларусь и открыта, только она одна считает своих жителей бессмертными горцами и выше любых пандемий и вирусов, поэтому нечего даже и думать. Надо набраться терпения и ждать. Того и гляди, всё закончится, не успеешь заметить. С тем, как сейчас проносятся дни, недели, месяцы, можно вообще не переживать. Просто сиди и перекидывай страницы календаря в ожидании скорой старости.

Так чем же всё-таки заняться? Я ещё раз посмотрел на монстеру и ещё раз – на опунцию. На каждую по разу. Вид у них хороший, здоровый, листочки с иголками лоснятся, значит, поливать не надо, тем более что вчера же поливал. Или не поливал? Ничего уже не помню. Это всё из-за монотонных дней. Они превратились в одни нескончаемые сутки, и порой трудно сказать, где кончилось вчера и где начинается сегодня. Я могу часами сидеть и гадать, где тот предел, за которым я вообще сойбьюсь со счёта, зарыдаю и перестану различать день и ночь, луну и солнце, год и секунду, парк и сон.

Я посмотрел в окно. Дождь. Когда он начался? Я не заметил, а лило уже так, что дом напротив лишь угадывался в пелене своими неестественно резкими очертаниями. Ну вот. Всё познаётся в сравнении, всё, опять же, относительно. Теперь, на фоне этой водной стены, моя мокрая спина не кажется больше чем-то неудобным, зазорным, доставляющим дискомфорт. Скорее наоборот – раз у меня мокрая спина, раз сам я вспотел от своих ярких видений или что это было, то, значит, у меня есть кров над головой, а это причина радоваться. Я попробовал порадоваться, но не получилось. Тогда я попробовал ещё раз. Снова ничего. Дробь дождя по подоконнику вызывала во мне тревогу, хотя и не тревогу, а скорее какую-то запущенную бытовую элегию и слезливость. Захотелось увидеть родителей, у домашнего очага сыграть с отцом в шахматы, побыть там, где я вырос, где впервые достал бутылку ликёра из родительского бара, нахлеставшись втайне до потери памяти – святое было время... Но до отчего дома триста километров, а поэтому, пока доеду, уже явно распогодится и мне захочется обратно – в столицу, к движению, средоточию деятельности. Или не захочется?

Я продолжал гадать. Нет, не захочется. Мне порядком надоело сидеть в четырёх стенах и каждое утро пялиться на самого себя, красавчика, в зеркало, одними и теми же движениями чистить зубы, одинаково принимать душ, с минимальными модификациями посещать уборную, готовить однообразный завтрак. Всё как-то машинально и бездумно, по накатанной, словно занимаешься сексом с куском подогретой пластмассы. Бесчеловечно, как в нацистской Германии. Я научился жарить шампиньоны, прошёл курс переговоров с террористами, разучил прыжки со скакалкой – всё ради имитации широкого ассортимента занятий, чтобы не сдохнуть со скуки, – почти сел на шпагат, но всё-таки не

сел, и, наконец, сотворил эту книгу – за шесть дней, с нахрапу, а седьмой день, то есть вчера, я, конечно, отдыхал. Её редакция, собственно, к печати и приняла. Это хорошо, да, хорошо, что что-то решили опубликовать, а то я уже, между нами говоря, подумывал забросить это дело.

Как часто я менял профессии! Переводчиком – был, кассиром, таксистом – был, был и грузчиком даже как-то раз, был музыкантом и фотографом, и партийным, и мясником, и предпринимателем, и – тут уже поинтересней – был скупщиком овечьих шкур, внештатным редактором статей на порнотематику, хотел даже устроиться проводником в поезд «Москва – Владивосток», но меня, слава богу, в последний момент отговорили. Числился также рядовым рабочим в фирме своего отца, но только числился и получал зарплату, а на самом деле – никакого отношения к фирме не имел и ничего не получал. Был зазывалой, распространителем флаеров, перевозчиком кошерной мебели. В уме я подвёл промежуточный итог этой фазы своего существования. Что ж, на самом деле список не такой уж и обширный, чего это я вдруг начал задаваться, будто всё испробовал, всё испил и, мол, доля моя паскудна? Список, можно сказать, даже слабенький, его стыдно кому-нибудь показать: засмеют, как с крюком. Поэтому не буду показывать, но в голове подумать о всех своих заслугах очень приятно.

Последний крутой поворот в профессиях произошёл не так давно. Фотография к тому времени надоела, меня выворачивало от свадеб и холёных влюбленных пар, обречённых либо на скорый развод, либо на монотонное существование, ай, думаю, раз такое дело, раз от фотографии тошнит, стану писателем! Удобно. Никуда идти не надо, ни с кем разговаривать, кроме случайных редакторов, тоже не нужно, да и вообще – можно спокойно себе пребывать в тех самых условиях, в которых я варюсь последние шесть месяцев. Легко! Ничего не стоит. Просто сиди и настукивай по клавишам свои мысли, слово за словом, пока не вырастут они в нечто монументальное.

А сегодня же ничего, зараза, не написал. Ни одной, ни единой строчки! Я фыркнул. Подумаешь! Ещё ведь не вечер, правильно? До вечера точно что-нибудь накорябаю. А не накорябаю – так, значит, и не надо. Отложу на завтра. Если мысль не идёт, её гнать не надо, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. Свой предыдущий роман я так и писал – с трудом вымучивая каждое слово, и вот посмотри, что получилось. Совсем ничего и не получилось. И за это, кстати, тоже стыдно. Лучше бы не вспоминал...

Пойти, что ли, написать строчку-другую?.. А ты уже придумал, о чём писать будешь? Не придумал. Ну вот посиди, может, чего и придумаешь. Не перед белым же экраном тебе куковать? Там, перед ним, нет никакого вдохновения. Ты уже должен был это усвоить, раз и навсегда...

Кажется, я начинал шевелить губами и даже проговаривать некоторые слова, приходившие в голову, – так, казалось, мысль складывается легче и легче находят ответы. Дождь не прекращался – но и не прекращались мои мысли, и, может, через минут пятнадцать я уже во весь голос, никого не стеснясь, говорил сам с собой:

– Да я-то всё уже давно понял. Нет там никакого вдохновения, да. Но с другой стороны – дисциплина...

– И что твоя дисциплина? Думаешь, шедевры дисциплиной создавались? Вот была ли у тебя дисциплина, когда ты писал тот роман, что сейчас в редакции?

Я вспомнил эти дни. Нет, никакой дисциплиной там, положительно, и не пахло. Я садился когда попало за стол и так же когда попало писал. Бесцельно, но с душой, от всего сердца.

– Вот я о чём и говорю. Не иди ты никуда, не ищущай, а сиди и вдохновляйся.

Дождь вдохновлял, но не на письмо, а на романтику, грусть и самоубийство. За этой бесцветной простынёй я чувствовал себя одиноким, о котором никто не знает, о котором забыли все. Хотелось, чтобы кто-нибудь обнял и сделал какао с корицей, как ребёнку. Пусть бы возникла передо мной некая женская особь, я б, может, и не стал

просить от неё какао, а положил бы аккуратно на овечью шкуру, снял бы с неё бельё и ласкал бы, нежно-нежно, любя-любя, без намёков.

Как бы могли её звать? Кассиопея. Вот, отличное имя. Я бы даже хотел, чтобы её так звали, потому что ещё ни одна Кассиопея не имела возможности меня бросить, Стрельца, а значит, она обладала некоторой презумпцией невиновности, и я бы не стал её сразу прогонять и выставлять на мороз после первого минета.

Я бы с ней поговорил сначала по душам, обо всём на свете. Спросил, что она предпочитает: аудиокниги, вырубку лесов Амазонии или всё же электронное чтиво? «Ах, как я люблю шелест страниц!» – призналась бы она, лья ко мне всё ближе, а я бы её в шутку, по-доброму отталкивал в рёбра, намекая уже на что-то большее, чем просто разговоры, но она бы всё лгнула ко мне и лгнула, и задавала бы вопросы, а я бы отвечал ей своими вопросами, и так бы мы друг друга до конца и не узнали... Я бы не узнал, что ей ближе: удовлетворение своих эстетических потребностей или забота о природе, – и именно это незнание, это несовершенство нашего знакомства сблизило бы нас так, что я бы наконец мужественно взял её за ляжки и прямо в глаза её бы спросил: готова она или мне взять её силой? Я бы услышал томный стон, ну а дальше...

Дальше лучше и не думать, потому что совсем истоскуюсь по женской плоти. Эх, мягкая податливая женская плоть... Нет, если бы не карантин, я бы пошёл в центр города и стал бы беспорядочно знакомиться с барышнями, аморально лстя и заискивая, – что-нибудь бы да выгорело. Но не теперь. Теперь у меня такие условия, что я развиваю свой дух и свою стойкость и ни перед чем не должен давать слабину. А впрочем, если хорошенько вдуматься, то женщин у меня уже не было так долго, что влечение из огромного всепожирающего монстра превратилось в маленького хитрого карлика, высовывающего свои виллы лишь изредка, когда совсем становится скучно. Тогда я могу залезть в тиндер, позёвывать, его полистать и, ничего не найдя, пойти лакомиться поджаристыми шампиньонами или грызть свежесваренную кукурузу. Сейчас сезон, не стоит пренебрегать овощами, особенно учитывая, как быстро в последнее время проходят дни. Ну и, к тому же, витамины...

Не успеешь оглянуться – снова нагрянет зима с её грузной поступью по хрустящему снегу (я снова теребил в руках пакетик сахара), с её скованными тёмными глазами, медленными задиристыми движениями, с её холодной, цепкой и расчётливой хваткой, витамины все уйдут в рябину, хиус подует с севера, закомкав тебя в клубок одежды и ледяных слёз, и тебя не будет отпускать ровно до весны, когда всё начнётся заново. Но до тех пор, до весны, время – не то что сейчас – будет плестись и тянуться в своих неподъёмных кандалах, и ты будешь ходить из комнаты в комнату, недоумевая: как такое возможно, чтобы всё лето пролетало за день, а зима продолжалась оставшиеся триста шестьдесят пять дней, если год високосный? Таков закон жанра, и чем старше становишься, тем этот жанр становится прочнее, и уже никуда от него не деться, не спрятаться, не убежать, даже если ты полупрофессиональный бегун, живо представляющий настигающего тебя петуха покаяния...

Нет, я не хочу, чтобы наступала зима. Зимой у меня только один любимый день – и тот мой день рождения. Ну, по крайней мере, так я думаю летом. А как зима окутывает город, так, впрочем, и не так уж всё плохо кажется. За окном бесовский минус, никуда выходить не хочется, да и не надо, и поэтому зимой хотя бы нет этого дурацкого, ничем не обоснованного чувства вины, как сегодня.

Вот сейчас шпарит дождь – и отлично. Потому что из-за него я не чувствую себя виноватым, что мог бы по идее куда-нибудь пройтись, где нелюдно, да не прошёлся, что-нибудь сделать полезное, да не сделал. А вот с самого утра, когда светило солнце – было так себе, хреново. Каждую минуту в голове, как колокол, звенело и пронеслось: во-о-от, сидишь ты, а на улице солнышко греет, люди загорают, что-то придумывают, чего-то хотят, к чему-то стремятся... А ты сиди-сиди. Гляди, до пенсии досидишься.

...О чём это я там думал? Кассиопея, кажется, аудиокниги... Да, так может, аудиокнигу включить, раз уж всё равно ничего не делаешь? Хотя бы на фоне чего-нибудь послушаешь. И нервы успокоятся, и как будто что-нибудь параллельно и выучишь. Как, помимо твоих шампиньонов, правильно готовить яйца пашот, например. Ты ж ни разу в жизни по-нормальному их не сделал, презренный! Пойдёшь ты в город, перезнакомишься, приведёшь какую девку – и что ты ей покажешь? Газету «Звезда» за двадцать седьмое июля или светопреставление у себя в спальне? Может, опунцию перед ней поставишь или расскажешь, как часто поливаешь монстеру и что она у тебя до безобразия капризна?

Глупости... Зато представь: приведёшь, заведёшь на кухню, не снимая грязной обуви, и покажешь: вот, мол, смотри, женщина, какие у меня яйца пашот оригинальные! Она тут же с себя всё скинет самостоятельно, без твоего участия, и востребует: бери меня без остатка и даже силой, не медли!

Я прервал мысли. Бесполезно думать об этом дальше, потому что аудиокниги – тоже на телефоне, а телефон – сам знаешь где. Не помешает посидеть и в тишине, говорят, способствует обмену веществ и хорошему метаболизму, и послушать, как стелет дождь по нагретому асфальту, а мысли вязкой лавой плаваются в голове и обволакивают тебя изнутри, чтобы что-то тебе сказать, но я не понимаю, что именно, допытываюсь, но никто мне не отвечает: даже совесть, и та теперь замолкла и ничего не говорит, и становится так одиноко, так тоскливо, как тоскливо бывает муравью, которого амбиции отобрали у родного муравейника и увезли за триста километров от родного дома в столицу.

Дождь продолжал барабанить, и снова кто-то звонил – уже, если я правильно понимал, в третий раз, а я медленно опускал свинцовые веки, но в последний момент их резко открыл, смело и без колебаний взял в руки чай, отпил его, крепко заваренного, и опять мои глаза округлились, и я почувствовал, как внутри, по жилам, замельтешила кровь и вибрации, и больше всего мельтешили они в голове, давая пищу размышлениям.

Я ещё раз решил провести инвентаризацию дел. Растения, скорее всего, полил вчера, уборку сделал на этой неделе или позже, еду... не буду думать о еде... так, толчок тоже отдраил до фантастического блеска, что ещё? Пробежал вчера пятнадцать километров, значит, сегодня день отдыха. (Так всё-таки выходил ты из дома?) Можно принять ванну. Хорошая идея. Я её запомнил и продолжил. Написать что-нибудь. Это уже проходили. Сегодня писать необязательно. Спокойно подождёт до завтра. И так уже написал прилично. Картину Французской революции, что стояла в прихожей с начала пандемии (я эти дни никак не решался сходить в гипермаркет за дюбелями), тоже как-нибудь повешу, ибо месяц назад всё-таки насмелился и за дюбелями пошёл. Надел на лицо три слоя бесполезных масок и пошёл. Моё эго уже давно перестало следить за тем, как я выгляжу на людях, поэтому я мог идти хоть с масками, хоть без, хоть в штанах, хоть без – никакой не было разницы. Но, несмотря на это, на такую мою новую свободу, я всё же за собой ухаживал и старался по мере возможности ходить в штанах. Мне и людям это было приятно.

Иначе, не холи я себя, себя я не лелей, будь я подобен бомжу, которых в своё время в избытке навидался в Америке, пришлось бы каждое утро наблюдать в зеркале страшное отражение незнакомца. Я бы себя не узнавал и содрогался. Что за хрен осматривает меня из зазеркалья? Так же я светился и пылал, и хотел бесконечно собой любоваться, с этой стороны, и с той, и со всякой, потому что не было ничего краше в этом доме... Разве что заглянет какая-нибудь красавица на ночь и представится: «Кассиопея»...

Я даже научился сам себя стричь. Не стричь – грубо остригать, потому что использовал я кухонные тупые ножницы, которые непреднамеренно вырывали из моей шевелюры куски, вместо того чтобы скользить по ней, как по вазелину. Мой личный парикмахер, когда карающая рука вируса замахнулась над Европой, вдруг решил внезапно и несвоевременно эмигрировать в Румынию, – в поисках лучшей жизни? – он умотал,

бросив клиентов, и плевать на клиентов, но бросив меня, – и мне ничего не оставалось, кроме как первые три месяца себя запустить, так что я стал похож на какого-то ободранного койота, не получившего свой положенный обед, на развалюху, на отчаявшегося родственника Генри Дэвида Торо с безумным взглядом, а потом сорваться, яростно вбежать в ванную и обкорнать себя со злости, раскидывая клочки волос по всему периметру равнодушного кафеля. А получилось, кстати, ничего, даже лучше, чем у моего парикмахера-румына, отметил я и потом ещё долго удивлялся – может, у меня талант?

Хотя иногда – вру – совсем не хотелось на себя смотреть, хоть и выглядел я прекрасно. Чёрт, да я выглядел гораздо лучше своей собственной версии, скажем, пять лет тому назад! В некоторой степени меня спасала окладистая борода. Даже не знаю, что бы делал, если бы не густая растительность на моём лице. Именно борода добавляла мне несколько необходимых лет, чтобы я начинал выглядеть хотя бы приблизительно на свой возраст. А через год-то – возраст Христа, между прочим...

Да, до тридцати трёх он много чего сделал. Истоптал пустыню, набрал толпу легкомысленных почитателей и менее легкомысленных врагов – был, как в том фильме, настоящей суперзвездой. Правда, в те времена звёзды были другие. Всё было другое. Так ведь обычно твердят старики? Я вот тоже часто думал: что, если (зачёркнуто) когда стану известным? Когда изюминка будет изобличена наконец, найдена не где-то в глубинах моей воспалённой фантазии, а на самом деле, в этой объёмной вещественности материи и духа. Испорчусь ли я, стану ли высокомерным? Начну ли раздавать всем пощёчины? Впрочем, в реальности мне не было на что жаловаться. Редакция в Гонолесе, приняв рукопись, бесспорно, тем самым подтвердила, что догадывается если не о моём гении, который мне очевиден, то хотя бы о наличии этой изюминки, этого своеобразия моего высокопарного таланта. Но – и тут я смеюсь – ведь это всего какая-то редакция в Гонолесе! Кто о ней знает? Кому о ней известно в мире?

Заранее зная, что скоро сяду за написание новой книги: что-то во мне было беспокойно и томилось, – я просидел, наверное, около месяца, ища в интернете издания, от которых бы не хотелось сразу сунуть шею в удавку (или галстук, да, лучше, конечно, в галстук). Много хороших я не нашёл. Но нашёл с добрую дюжину более-менее сносных, таких, которые можно было читать, пусть и плевать, но читать. В наше время их встретишь нечасто. Все печатают какую-то ахинею. «Пад крыламі анёла»... Что это вообще значит? Анёл... Нельзя ли было подобрать слово позвучнее, чем это? Так они все сейчас и работают, «пад крыламі анёла» известного, простите, презервативного свойства.

14

Один мой знакомый, писатель, как-то подсказал: найди, говорит, газету, которую никто не читает, и начни там публиковаться (у меня такие идеи, если помните, проскакивали). Проблем, мол, не будет. У них дефицит с материалом, им нужно что-то печатать, чем-то занимать пустые полосы, потому что инвесторам необходимо отмывать деньги, им белая бумага не понравится. А куда, говорил он, идут потом эти газеты? На прилавки, в киоски, где под лучами беспощадного солнца желтеют и комкаются, желтеют до тех пор, пока не настанет пора их позорно выкидывать. Но никто их не выкидывает. Продавщицы уносят их домой и используют в качестве туалетной бумаги, для мытья окон или чтобы заворачивать таранку. Мне кажется, это он придумывал, насчёт бумаги, окон и таранки, но часть правды в его словах всё же была. Таких газеты – сотни. И это в одной только нашей стране.

А весь мир? Если взять весь мир и потрянуть его как следует, сколько посыплется никому не нужной макулатуры, которую никто не читает и не стал бы читать даже под дулом заряженного пистолета? Там публикуются неизвестные авторы, и потом в их статьи брезгливо заворачивают сушёную рыбу из ближайшей поймы, а где-то не гнушаются и подтираться. Мне не хотелось, чтобы моими произведениями подтирались, нет, и тем

более чтобы они становились последним пристанищем для какой-то таранки (я теперь, когда не пью, таранку разлюбил).

Но Андрей настаивал. Он говорил, что только так можно пробиться. Что только так автора заметят. Сам Андрей ещё не пробился, и его не заметили, но рецепт успеха знал наверняка. Тогда я возразил, что не вижу в его словах логики: публиковаться в газетах, которые никто не читает, – так кто же тебя тогда заметит? Он открестился от меня, как от Иуды, как от «претендующего», бесперспективного представителя литературной жизни, как от предателя, в конце концов, и продолжил пить свой кофе.

А я кофе не пью, я только чай пью, поэтому я пил чай и думал: где логика? В конце концов Андрей, не выдержав соседства с ним тупизны и крайней в моём лице узколобости, объяснил, что таким образом я смогу составить что-то вроде собственного резюме. «Резюме?» – спросил я. Я ненавидел резюме ещё с тех пор, как устраивался менеджером в офис – с поддельными, разумеется, бумагами, на которых расписал весь свой несуществующий стаж работы. «Да, резюме», – ответил он. Там будут, говорил он, сотни газетных публикаций, и это будет не враньё, а чистейшая, мраморная правда. В этом и заключался хитрый трюк.

– Думаешь, как я попал в википедию? – спрашивал он меня, чтобы потом самому ответить на этот вопрос, пока мы сидели в полуподвальном помещении какой-то кафешки, рассматривая стены, увешанные различными символами ностальгии по советской эпохе: уют на углях, плакат «Пить не буду», приколотенная книга «Архипелаг ГУЛАГ», статья Луначарского «О быте: молодёжь и теория стакана воды», портреты Коллонтай и Клары Цеткин, какие-то броские выдержки из закона о тунеядстве, белорусские «зайчики», кровавый флаг СССР.

Мы пили кофе и чай.

– А сделал я так. Стал публиковаться в этих газетёнках, потом нашёл человека, который был редактором в википедии, но самое главное – продажным редактором, не чистым на руку, у меня на таких нюх, заплатил ему сто пятьдесят зелёных и бутылку шнапса и скинул своё внушительное резюме. Вуаля! И теперь я на страницах информационного гиганта. Статус, мол. Понимаешь? – и добавил задумчиво: – Только зачем он мне...

Так же думал я и о газетах. Ну опубликуюсь – а оно мне надо? Будет ли от этого радость, творческий оргазм, придёт ли счастье, хотя бы маленькое? Я заранее знал, что не придёт. Я уже не на том уровне, чтобы приходило. Если в двенадцать лет я радовался своим посредственным, наивным обзорам игр в газете «Компьютерные вести», но теперь такая публикация могла только повергнуть меня в уныние. Если бы где-то вышла моя заметка в одной из таких газет, мне бы пришлось ездить по всей стране и скупать сначала бензин, а потом тираж, чтобы потом в чаще соснового бора, подальше от людских глаз, ошестинившись, всё это сжечь – и больше нигде не публиковаться.

В общем, большинство тех изданий, что я находил, в самом деле печатали полнейшую муру, от каковой даже последний подлец бы не воодушевился. Я вспомнил, что на почте кроме газеты купил ещё какой-то журнал. Я долго рассматривал полки и выбрал самый дорогой и самый глянцевый. На меня с благоговением смотрела вся очередь. Куда я его закинул? Со своего кресла я бросил взгляд в прихожую: там его не было, только балансбординг и уют, слава богу, не на углях. Диван в зале, столик, ноутбук – нигде. Я уже от безнадёги стал шарить под своим сидалищем, с одного места на другое переложил «Книгу полезных советов» и даже заглянул под кресло, на котором сидел, – и тут же радостно запищал, как стриженый в вечерней заре: там не было клоуна с византийской ухмылкой, уже только от этого можно было бы завизжать, но захоластно валялся ещё позабытый журнал. Может, повезёт, и в нём найдётся гороскоп? Очень уж интересно, что они мне предскажут на этой неделе.

Я листал скользкие страницы, и мне становилось всё грустнее. «Прогулка по Карнаби-стрит даёт прочувствовать дух свингующего Лондона...», «Я всегда с собой

беру... санитайзер, мыло и влажные салфетки», «О своей личной жизни Ана не распространяется, но что может быть красноречивее её совместных фотографий с Беном Аффлеком?», «У меня лучшая в мире профессия – я фельдшер скорой помощи», «Я одеваюсь так, как одеваюсь». Я уже собирался откинуть эту вульгарщину подальше, желателью в сторону уборной, как вдруг на последней странице увидел:

«СТРЕЛЕЦ, – говорилось там заглавными буквами. – Азарт – ваше второе имя, но сейчас горячую голову хорошо бы немного охладить. До следующей недели избегайте риска и авантюры, даже если безрассудство и выглядит очень соблазнительным. Это Меркурий морочит вам голову. Дождитесь второй половины месяца (а лучше августа), и уже потом дерзайте».

Я бросил журнал на пол. Меркурий морочит мне голову. Неудивительно, что они не публикуют анекдоты. Зачем? Когда есть такое. Здесь можно читать и обхотываться, пока не потонешь в собственных слезах от конченного юмора. Меркурий морочит вам голову! Избегайте риска и авантюры. Да уж. Я ожидал от этого чтыва посредственности, но не настолько. Хотя в чём-то они были правы, надо признать, по крайней мере насчёт авантюры. Значит, мой астролог не ошибался, но всё же мне было интересно, какие сейчас могут быть риски у человека, который круглые сутки заперт у себя дома и выходит, только чтобы размять свои кости и послушать пение птиц, – да и то, по возможности, избегая любого общества? Который по десять раз моет руки, прежде чем к чему-либо прикоснуться – какие у него риски? Это можно назвать авантюрой?

15

Я почему-то думал, что авантюра – это когда с одним веслом и на дырявой лодке отправляешься через океан без запасов пресной воды и провизии, но не когда ты на самоизоляции во время всемирной эпидемии коронавируса сидишь, опечатавшись, дома. Какие риски могут быть у человека, который, чтобы спуститься со своего восьмого этажа на первый, уже полгода не пользуется лифтом и вместо этого идёт по лестнице, в надежде, что там за сутки проходит меньше людей? И не просто идёт по лестнице, а бежит по ней, как угорелый, потому что если не бежать, то задержанного дыхания может до первого этажа не хватить, и вот тогда придётся вдохнуть, а это – риск. Он же не идёт даже на самые минимальные риски, даже лишнего вдоха не делает. Даже не встречается с девушками и не вызывает никого на дом, хоть тяжёлые времена и требуют отчаянных мер. Вращивает своё либидо до невероятных размеров, чтобы в один день энергия кундалины, не в силах больше сдерживаться, взорвалась и всех женщин в радиусе десяти километров сразило моими феромонами наповал.

Но такого не будет. Просто однажды я открою адресную книгу в телефоне и начну подряд цинично набирать всех женщин, несмотря на их возраст и свои предпочтения, которых когда-либо встречал, но которых по разным причинам подозревал в проституции, и приглашать их к себе домой так, чтобы ближайший месяц был расписан поминутно. Вот именно так я и поступлю. Это тоже будет – своего рода авантюра. А сидеть дома и ничего не делать, как делаю (или не делаю) это я, – далеко от любых рисков, что бы там в этой постыдной периодике не писали.

Хотя... Нет, надо подумать. Есть ли какие-то в этом риски? Ну единственный, который я теперь вижу, – это что могу двинуться всеми шпалами одновременно. А может, уже и двинулся, ведь это я сегодня сам с собой вслух разговаривал? Я. Чем тебе не помешательство? Вполне сойдёт за начальную стадию шизофрении. Я пытался общаться с людьми по телефону, ещё когда всё только начиналось, но надолго меня не хватило, моё терпение лопнуло раньше конца первого же разговора. «Как дела?» – «Хорошо. А у тебя?» – «Тоже...» – и так далее в том же скучном и безынтересном духе. То есть это суррогат, пиллюля, понимаете? Таким сыт не будешь, да и не очень-то соблазнительно поддаваться самообману, я такое перерос. Только теперь и остаётся, что с собой разговаривать.

Вот это риск, да. Сколько съехавших, интересно, с катушек выплеснется на улицы городов после того, как ВОЗ объявит, что с пандемией покончено? Это будет карнавал безумцев, и я не уверен, что хочу его увидеть. Но ничего, ничего... Это хорошая духовная практика. Мне всегда хотелось разобраться в своих мыслях, покопаться, посмотреть, устаканиться, потому что их столько... Но никогда как-то не представлялся подходящий для этого случай. Я всё суетился (благо были примеры для подражания), куда-то спешил, бежал, что-то спрашивал, тараторил и ничего не слышал в ответ – только свои угнетающие мысли. А теперь – куда спешить, зачем суетиться?

Вот я и взял спокойно ручку, лист бумаги и стал не спеша искать издания литературных журналов. Почему журналов, а не полноценные издательства книг? А хотелось мне, чтобы книгу мою будущую публиковали медленно, частями, чтобы читатель смаковал каждую главу, да и журналы мне были как-то привычнее. Как я уже сказал, несколько если не достойных, то таких, от которых не хотелось с ножом кинуться на издателя, я нашёл и отправил им свой роман. Я ни на что не рассчитывал и даже собирался в тот же день об этом забыть, что отправил, как меньше чем через сутки мне неожиданно пришёл ответ (а как же бесконечные месяцы мучительного ожидания?) – от одной из редакций, той, что в Гонолесе:

«Павел,

Нам редко присылают шедевры. Прочли запоем. Отличная вещь, особенно спекуляция по поводу того, что Гонолеса не существует! Первую главу вне очереди ставим в следующий номер. Тираж у нас небольшой: читает нас в основном деклассированный элемент местного вино-водочного завода – но свою аудиторию вы, уверены, найдёте. Люди в Гонолесе любознательные, любят всякое такое.

Вы упомянули, что гонорар необязателен, но мы считаем своим долгом вас вознаградить. Приезжайте в следующую среду. Заодно убедитесь, что город настоящий. Ждём с нетерпением.

С уважением,

К. и редакция»

Я несколько раз перечитал письмо. Неужели хоть кто-то понял, что им в руки сыплют не слова, а золото наивысшей пробы?! Я читал письмо снова и снова, по диагонали и справа налево, и всё больше расплывался в самодовольной улыбке дебютировавшего писателя. Ну вот, сказал я себе, свершилось. Ты пробил потолок своим словом, какие у тебя чувства? Я пошёл в ванную и посмотрел на себя, улыбающегося, в зеркало. Мне идёт улыбаться. Мне надо чаще улыбаться. А чтобы так было, необходимо, жизненно необходимо, чтобы во мне чаще находили талант и чтобы меня чаще за что-нибудь благодарили.

И эта борода... Она придаёт мне какую-то солидность. Без неё я выгляжу на двадцать пять, хотя в свои двадцать пять я выглядел на все тридцать три, и причём тогда бороды у меня не было. Такой вот парадокс. Я пил как сапожник и был оттого грустным и печальным. Мой взгляд в те времена даже трудно описать. Он был пепельным и ненужным, с изредка проскакивающей искоркой затухающей, но борющейся жизни. Хотя для некоторых своих друзей, у которых взгляд был точно такой же ненужный, как и пепельный, для них я был живее всех живых. Им было со мной интересно, потому что я пил и никогда не останавливался. Можно было в любой день недели, в любую пору года, в любое время суток позвонить мне и спросить: «Где?» – я бы назвал очередное заведение, где сижу и всё дальше опускаюсь на дно стакана, предаваясь греху во всём его полулитровом объёме.

А теперь без бороды – двадцать пять, с бородой – тридцать два. Скоро уже тридцать три. Так многое ли я сделал за эти годы? Не так уж много. Множество раз эмигрировал в различные страны, оба раза неудачно, и вот он снова я – там, где и должен быть. На своей родине и без особых свершений позади. Побывал в разных ипостасях, но в итоге – здесь. И мне здесь нравится, особенно сейчас, когда никуда не надо.

По идее, я должен был бы возненавидеть своё жилище за время заточения, но почему-то не возненавидел, а ещё больше в него влюбился. Я навёл порядок, такой, которого эти стены не помнят с самого две тысячи седьмого года, когда они были возведены безымянным строителем. Мне всё здесь стало нравиться. Хлюпающий звук стиральной машины, приглушённые голоса соседей, потрескивание свечи на ночном столике. Книги я аккуратно расставил по полкам, аромамасла рассортировал по запахам и воздействию на ЦНС, подкрутил в стульях гайки, купил специальный столик для чайных церемоний, освятил пространство своим длительным присутствием.

Что ещё? Да много чего. Нет смысла перечислять. Главное было не перестараться, потому что бывало и такое. Навожу порядок, навожу и тут вижу: нет, слишком чисто, слишком идеально. Так идеально, что хочется застрелиться, не дожидаясь пенсии. Не хватает ваби-саби – важнейшего качества любой нынче жилплощади. И тогда швырну какой-нибудь пододеяльник на пол или раскидаю еду по квартире – и тогда гармония восстанавливается. Я снова улыбаюсь.

Я сидел и улыбался. Да, хорошо здесь. Никуда не надо. Или, может, всё-таки надо? В редакцию, например. Они говорили «в среду». А сегодня – вторник. Я нахмурился. Стоп, а точно сегодня вторник? Может, всё-таки среда? А ещё, не дай бог, четверг? Да какая вообще разница? Я всё равно не хотел изначально никакого гонорара, так что если и не заберу в итоге ни сейчас, ни когда-либо потом, то ничего по большому счёту не потеряю. Даже наоборот – я буду чувствовать себя чуть ли не святым, что такое великолепное произведение отдал им задаром, с барского плеча. И тем более – первую часть они в любом случае опубликуют.

А всё-таки смеха ради можно было бы отправить какой-нибудь фельетон в газету, даже вот в эту «Звезду». Их скудные умы любую записку сочтут за второе пришествие. Андрей мне скинул список тех, которые – он лично проверял – не читает ни одна душа в республике. И если никто не прочитает мой фельетон – это будет не позор скорее, а насмешка над социумом, оплеуха порочному строю. Какой замечательный план, однако! Да, я таким тонким ироничным способом как бы высмею их, поставлю на место. Но надо всё просчитать. А что если кто-то всё же сдуру купит газету, не пожалеет денег и прочтёт? Тогда это уж будет совсем не насмешка, а как раз-таки – мой позор. Тогда насмехаться будут надо мною, а мне это совсем бы не хотелось.

Ограничусь пока публикацией в гонолесском журнале. Окей. Когда время придёт, тогда в википедию и попаду, если мне это в самом деле будет нужно. Или если это надо кому-нибудь ещё – я не буду сопротивляться. Пускай публикуют. Весь мир должен знать о том, что один из писателей начал свой непростой путь с журнала в, как принято говорить, выдуманном месте – Гонолес.

Я почувствовал, как любопытство подкрадывается ко мне, дребезжа, струится из-под коленок, по бокам, позвоночнику проникает прямо в мысли. На карте я смотрел – Гонолес есть, он совершенно точно существует по крайней мере на картах. Но люди всё равно настырно утверждали, что это выдуманное место, что только на картах-то оно и есть. Тогда из какой же редакции мне писали? И писали ли вообще? Чушь. Да и, судя по тому, что я начал разговаривать сам с собой, утверждать что-либо однозначно было бы слишком опрометчиво с моей стороны. Воздержусь, как говорят фригидные люди. Поэтому положим, что город этот наполовину вымышленный, наполовину – реальный. Осталось только выяснить, в какой из половин расположилась редакция...

Раздался громкий стук. Я притворился, что мне показалось, и не сдвинулся с места. Я посмотрел на свой чай, отхлебнул немного и тихо, чтобы не услышали за дверью, и мысли набросились на меня с новой силой, уже совсем не щадя ни мой мозг, ни мою душу: они липли ко всему, на что бы я ни посмотрел, что бы я ни услышал, они, казалось, уже стали выливаться из моих ушей уродливой патокой и сочиться из носа. Тогда я

посмотрел в окно: дождь не прекращался, стало темнее. Скоро, возможно, начнётся настоящая июльская гроза, подумал я и снова про себя порадовался, что никуда идти не надо. Никакой абсолютно вины за собственное бездействие – что может быть лучше?

После непродолжительной паузы в дверь опять постучали. Я выпрямился в кресле, готовый идти. Мои стороны, левая и правая, синхронизировались. Обе были в боевой готовности к марш-броску. Я подождал пару секунд, не повторится ли стук, и стук не повторился, и я снова расслабленно впал в кресельную обивку. Ну вот кому понадобилось стучать мне в дверь? Так ли это необходимо? Неужели нельзя оставить человека в покое, чтобы он мог вникнуть в суть бытия, расслабиться, целиком и полностью? Неужто это так много – попросить у мира тишины и штиля, одинокого забвения, когда именно оно так дьявольски и нужно? Зачем беспокоить почти уже вникнувшего в нечто и расслабленного совсем человека? Кому может взбрести такое в голову? Нелюди.

Я бы никогда так не сделал. Я бы сначала позвонил, предупредил, не настаивая... А если... Так ведь это они мне и могли звонить на телефон, правильно? Хотели, может, предупредить, а я бестактно не поднимал трубку. Точно, это они. Только кто – они?

«А ты встань, скотина ленивая, и поди посмотри». – «Никуда я не буду вставать. Я только сел. И попрошу без словоблудия». – «Прямо ты только сел, огрызок недоеденный, что вот уже почти обед, а ты всё даже никак и не встал ни разу?» – «Как обед? Какой обед?» – взвинтился я, посмотрел на часы, но часов на руке не было: те тоже предательски остались лежать в спальне. Пожалуйста, это она меня подзадоривает, она меня изводит. Только я обрёл подобие покоя в окружении дождевой завесы, как совесть снова возникла, буквально из ниоткуда, со своими нравоучениями. «Никакой сейчас не обед», – сказал я себе и выпрямился. Если бы было обеденное время, мне бы хотелось есть, а есть я хотел, может, полчаса назад, может, час или минут десять тому, но сейчас уже, как бы там ни было, перехотелось, и есть я не желаю. Значит, до обеда ещё далеко. До обеда ещё можно расслабиться...

Снова стук, теперь уже громче и истеричнее. «Здесь что – пункт выдачи бесплатных надежд и наркотиков, чтобы так рваться?» – крикнул я или подумал, что крикнул. Вот же сволочь! Я продолжал кричать. Ты бы лбом лучше об дверь побился, чем стучать в неё руками! Возьми лоб и шлёпни его об морёный дуб из-за плеча! Дверь у меня хорошая, крепкая, голову любого идиота выдержит. Не пойду я никуда, сказал же. Я никого не жду, не ждал и ждать не собираюсь. Надежды мне не нужны, от наркотиков я отказался. Придумали – с утра пораньше наводить в доме шорох. Что это за манера, блять, такая?!

Может, включить телевизор, чтобы не действовали на нервы? Заглушу стук, если опять додумаются стучать. Будут новости, я заранее знаю, о чём там будут говорить. Одна и та же пластинка изо дня в день, вот уже на протяжении долгих месяцев: коронавирус, бла-бла-бла, предстоящие выборы нынешнего президента, бла-бла-бла, где-то кого-то случайно зарезали, а кто-то случайно и сам утопился, бла-бла-бла и всё такое прочее. Этим не вдохновишься, а мне сейчас именно вдохновение и надо – сколько можно повторять? С новостями заземляешься, становишься тяжёлым и густым, а мне надо – парить, расправляя крылья, дышать. Иначе кто будет читать мои книги? Кому они будут нужны?

Вот у меня на полке стоят: Платон, Ницше, Замятин, Гурджиев. Таких не стыдно поставить на полку, чтобы там стояли. Они стоят, а я на них изредка с любопытством поглядываю. Хороши, сволочи, хотя Ницше, сколько раз ни читал, ни разу до конца и не понял. К чему вот у него вся эта псевдобиблейская заумь? Да что там, я его вообще никак не понял. Все его идеи оказались для меня непостижимы, далеки и туманны. Но я доверяю мнению некоторых авторитетов, что утверждают, будто это великое чтиво и знамя цивилизации, поэтому не стал его выбрасывать на помойку вместе с колоколами, а поставил на самое видное место. Пусть всё-таки стоит, а я буду искоса поглядывать. Как зайдёт какая-нибудь Кассиопея, уже после того как я ей покажу свои кухонные яйца

пашот для гурманов, так и упадёт в обморок на овчинную шкуру: настолько великолепным ей покажется, что у меня на полке томик Ницше, невзрачный, но сверхчеловечный.

Ещё там стоят Маяковский, Гончаров, Кастанеда, Бродский. А нет, Бродский уже давно успешно обосновался в туалете. Хорошо он почему-то читается на унитазах. Я вот же думал сегодня выучить какой-нибудь стих для развития памяти, и это был не какой-то каприз или прихоть: я в самом деле недавно заучил один стих Бродского, только теперь не помню ни строчки. Что-то там было про «мартабрь» – это он так искусно совместил март и октябрь. Я тоже так могу, но не стану. Февраль, например. Июнь. Август... Мне продолжать?

Чуть ниже – две упаковки восковых свечей. Я их использую для аромалампы. Когда мне не хочется ничего делать – я наливаю пять капель ладана и утопаю в религиозных испарениях фимиама. Я переносюсь в какую-нибудь церковь и вижу, как идёт служба. Поп с кадилом обходит прихожан, что-то бормоча себе в седую бородку, дым медленно, неохотно поднимается под высокий потолок по обе от него стороны, а потом устремляется выше – в купола, но до этого он ещё томно повисает в воздухе и думает: подниматься или не подниматься? Как и я думаю: открывать или не открывать? Нет, решено ведь: открывать не буду, это опасно, риск, авантюра. Никогда не знаешь, кто там, за дверью. На пороге может быть прокажённый или просто кто-то с популярным нынче вирусом – что я тогда ему скажу? «С Новым годом?» Пусть других заражает.

И дым в итоге решает, что надо всё-таки подниматься, на него ведь смотрят десятки людских глаз. О нём плохо подумают, если он так и зависнет на одном месте и никуда дальше не сдвинется. Вскоре все в этом ладане задохнутся и начнут выбегать из церкви с криками, что кадилом орудует не поп, а опопевший сатана. Дым медленно поднимается вверх, и все вдыхают ароматы и начинают чувствовать какое-то блаженство и успокоение, но не могут и не хотят его описывать, а просто чувствуют и покорно молчат. Все в чёрном, и я не знаю почему. Я смотрю по сторонам в поисках объяснений, но взглядом натываюсь только на облачённых в тёмные одеяния людей и на их понурые лица, которые трудно разглядеть во всех подробностях: они как будто размыты широкой смелой кистью авангардного художника, и вся церковь трещит от позолоты и сотен икон, тяжело вззирающих на прихожан сверху, чтобы добить их самолюбие, с высоты стен своим величием растоптать и уничтожить.

И тут я понимаю, что это та самая панихида, а над входом читаю небольшую табличку: «Церковь святителя Николая архиепископа Японского г. Гонолес», – тогда уж становится совсем всё понятно. Панихидная служба по не в срок спившемуся, но не открывшему никому своей тайны Егору Кридовичу. А где же тогда мужик в шляпе? Поблуждав взором немного по залу, я наконец нахожу его в отдалении, у восточной стены алтаря, богохульно держащегося за семисвечник и еле стоящего на ногах, из кармана торчит фляжка, хоть нахожу и не сразу, потому что сразу я искал шляпу, но потом абстрагировался и сосредоточился на лицах – так вот, у него одного было внятное лицо, которое удалось рассмотреть. Лёгкая небритость, впалые щёки, но не оттого, что человек хворает, а оттого, что пьёт, красный округлившийся нос и взгляд нечто знающего человека. А сверху – карая вязкая неприкрытая шевелюра. Я смотрю на него и думаю, и понимаю, что это тот мужик из тамбура, потому что именно у него я шляпу и отобрал, а тому, что был в вагоне, я её наоборот – вернул. Следовательно, это тамбурный мужчина. Вот и стоит с непокрытой головой, выделяясь.

Только как же я здесь оказался? Точно помню, что выходил раньше станции Гонолес или позже неё, в Симферополе, в общем, но никак не в Гонолесе, потому что, если б я там вышел, я б уж как-нибудь об этом да помнил. И если бы я вышел на станции Гонолес – так разве стал бы я соваться на чью-то панихиду? Да никогда в жизни! Разве

только мужик этот без шляпы меня нарочно уломал на сие предприятие, уговорил, может, как-то. Дескать, раз уж вы тут, так уважьте присутствием мёртвого алкоголика. Но сделать этого он не мог.

Это раньше меня можно было подписать на сомнительные мероприятия любого толка. Можно было просто подойти, показать мне бутылку и произнести, как заклинание: «Идём, тебе сказано», – и я бы пошёл, не спрашивая куда. И чем дороже содержимое бутылки, тем дальше бы пошёл и тем меньше бы спрашивал. Значит, у мужика должно было быть что-то ну прям очень дорогое и заморское, диковинное, коллекционное, может даже, чтобы я добровольно согласился смотреть на эти неотёсанные бескультурные лица и на эту тошнотворную службу. Только есть один момент: я не пью, а поэтому ничем даже запредельно дорогим, диковинным, заморским искушать и увлечь меня у него не было бы шансов.

Значит, добровольно, что ли, припёрся? Господи Иисусе... Я не выдержал, развернулся и вышел, стеснительно расталкивая народ локтями, на улицу. Дождь. Я было подался обратно в церковь, чтобы не намокнуть, но тут же себя одёрнул: если ты то как бы верующий, то как бы и нет, и мечешься между мирским и духовным – на что это похоже? Неудобно. Они тебя даже не растопчут – это ещё можно было бы выдержать, – они на тебя наплюют, разодрав твою сущность в клочья. А с другой стороны, мне на них наплевать ещё больше, и что бы они обо мне ни подумали и как бы куда ни плюнули, мне будет ни жарко ни холодно.

Тем не менее я не стал возвращаться. Я попробовал уместиться под козырьком, но он был такой маленький и скупой или я такой всеобъемлюще-могучий, что про себя я выбрал того, кто сделал его таким убогим и не догадался, что иногда козырёк священного места выполняет определённую социальную функцию, а именно: защищать паству от проливного дождя. Он об этом не думал? Что я говорю! Воистину, зачем ему об этом думать? В этой стране вообще думать не принято. Тут надо запомнить всего лишь несколько цифр: когда магазины открываются, в семь или в восемь, когда закрываются, со скольких до скольких у тебя работа, если ещё не уволили, и какая у тебя зарплата, до тех пор пока не уволят, – и всё, можно жить и ни о чём не думать. Можешь спокойно прожигать лучшие годы, потому что, как известно, всё худшее ещё впереди. И поэтому народ наш с оптимизмом о прошлом настоятельно пропивает себя в абсолютно никчёмное будущее.

Никто, когда это строил, ни о чём не думал. Может, только поп подумал о чём-то высоком, о боге, может, подумал или о восьмицилиндровом Феррари. Моя правая, активистская которая, половина промокла, я решил не мелочиться и вышел под струи дождя весь. Мокнуть – так целиком. В конце концов, это просто дождь. Да и спина у меня всё ещё мокрая. Пожалуй, здесь лучше, чем внутри. Внутри я вижу только безвыходность и чрезмерную серьёзность, как будто решается судьба израильского народа.

Мне никогда не нравились церкви. Они у меня ассоциировались с кончиной любых начинаний, наверное, потому что один из первых трупов я увидел именно в церкви. Это была какая-то дряхлая старушка в некрасивом, наскоро сколоченном гробу. Было так желюдно. Первые ряды надрывно стонали и плакали, вторые и третьи молча сопереживали, пытались изобразить как можно более сочувственные и драматичные лица, а с четвёртого ряда и по бесконечность люди рассказывали друг другу анекдоты, делились последними сплетнями и вообще, казалось, не обращали никакого внимания на происходящее. Моя бы воля – я бы их выгнал оттуда вонючей шваброй, но швабры у меня в те годы не было, и я был слишком мал для таких категоричных действий, поэтому стоял и смотрел на сморщенную бабюлю.

А потом вот точно так же: взял и выбежал. Только дождя тогда не было. Проклятый дождь. Как я поеду домой? В таком виде дай бог чтобы меня в транспорт пустили. Да я и сам, может, в таком виде в него не войду. «Тебя такого...»

– Замолчи! – крикнул я. – Замолчи, подлюга!

– С вами всё в порядке? – раздался приятный женский голос, приятный – в отличие от голосов обслуживающего персонала железнодорожных линий, совести и низкого баса священнослужителя.

Я обернулся. Из-за дверей выглядывало милое личико молодой девушки. Она была похожа на какую-то принцессу, хотя принцесс я никогда не видел, но почему-то был уверен, что по крайней мере лицо у них – именно такое. Слегка овальное, беловатое, с выразительными глазами и тоненьким немного вздёрнутым носом. Её волнистые белокурые волосы развевались на ветру, то поднимаясь, то опускаясь, то и вовсе закрывая собой пол-лица, но она, казалось, к этому привыкла. Она была чем-то озабочена, хоть и пыталась это скрыть за прелестной улыбкой.

– А, нет-нет, всё в порядке. Почему...

– Я просто увидела, как быстро вы вышли, и подумала, что вам плохо, а потом услышала, что вы с кем-то разговариваете...

Она озадаченно посмотрела вокруг, пытаясь, видимо, найти моего собеседника.

– Не обращайтесь внимания, – успокоил её я. – Это я так... Со мной, в общем, бывает. Просто вот – захотелось подышать.

Она искренне улыбнулась, как дурачку, не веря, конечно, ни единому моему слову, и аккуратно наполовину вышла из-за двери – так, чтобы не намокнуть. На ней было лёгкое летнее платье светло-голубого цвета и такого же цвета босоножки. «Нет, чёрт меня раздери, самая настоящая принцесса!» – удивился я, поругал себя за святотатство и тут же удивился снова, почему она, во-первых, в таком наряде в таком месте и, во-вторых, как это я мог её не заметить среди всей этой безликой толпы горюющих по Егору. Теперь я осыпал себя бранью за невнимательность.

Пауза затянулась, и я сказал первое, что пришло в голову:

– Я что-то вас внутри не видел...

– А я вас – видела, – сказала она с кокетливой улыбкой и вопросительно замолчала.

Что же она хочет? Я должен что-то ответить? С виду хороша собой, прекрасна. Лик ещё не испорчен полком обманувших её надежды мужчин. Интересно, сколько ей лет?

– Вы знали Егора Кридовича? – спросил я, чувствуя себя смущённым красотой дегенератом.

– Не-а. А вы?

Прямолинейность и непосредственность – вот что выдаёт настоящих пантер, скрывающихся за непорочным образом и голубыми платьями. И ещё кокетство. Ей, наверное, двадцать три, что ли?

– Я тоже, – признался я.

– Так как же вы здесь тогда очутились? – она была удивлена.

Я улыбнулся:

– Вот это же я хотел спросить и у вас.

Она замялась, посмотрела на меня от пят до макушки и сказала:

– Вы так и собираетесь стоять тут и мокнуть?

Я показал на козырёк:

– Под ним для нас двоих слишком мало места, – сказал я трагично, но она, кажется, не уловила крёстно-отцовского юмора, хоть для виду и хихикнула неловко. – Да и не так уж тут плохо. Хотите тоже?

Она с изумлением на меня посмотрела, потом на мои ботинки и сказала:

– У вас все ботинки испортились.

– Это они только набирают красоту. Ну так как? – я протянул ей руку.

Её оценивающий взгляд ещё раз скользнул по моему телу, и после небольшой заминки она выпрыгнула из-под козырька, подставив дождю своё невинное лицо без косметики.

Вот! Вот что приковало к ней моё внимание, как только она показалась из-за этих массивных дверей! Никакой косметики! Сегодня это такая редкость. Я пока сюда доехал, столько видел...

Как же я сюда доехал? Я смотрел на девицу и расплылся на две мысли одновременно: какая она красивая и как, чёрт возьми (я опять мысленно и строго отругал себя за богохульство, уже с мазохистским наслаждением), я здесь оказался? Первая мысль никаких дополнительных размышлений не требовала, ибо была риторична и самоисчерпывающа. А вот что касается второй, то тут я был сбит с толку, но как только увидел капли, рассеянно стекавшие по губам девушки и исчезающие на груди за платьем, меня осенило. Никаким поездом я сюда и не добирался! Вспомнил! То был сон, помешательство, вот! А дождь идёт, потому что начался он сегодня почти с самого утра, потом я сидел, долго думал, рассуждал, даже с собой разговаривал, потом постучали в дверь, два раза, и вот уже на третий я не вытерпел и встал, и подошёл к двери, и посмотрел в глазок. Я, помню, спросил, максимально недовольным тоном:

– Кто? – мой собственный голос показался мне необычным и отстранённым, как будто говорил не я.

Из-за двери ответили:

– Может, сделаете эту чертовщину потише?!

Я опешил, отошёл от двери, прошёлся до шкафа и обратно, безуспешно пытаюсь выловить из тишины некую громкую чертовщину, о которой шла речь, и снова посмотрел в глазок. Был еле различим силуэт какого-то мужчины. Невысокий, с лысиной и толстыми очками на переносице – это всё, что я смог выхватить из коридорного мрака.

– Вы там обо что-то, верно, хорошо так стукнулись? – предположил я твёрдо и с дерзостью, ведь и мне дерзили. А кроме того, нас разделяла надёжная дверь из морёного, как я уже сказал, дуба, поэтому я мог позволить себе развязные интонации в своих ответах. – У меня дома тишина минус сорок децибел.

– Дебил?! – послышалось.

Это уже было просто смешно. То, что ему говорят, он слышит плохо, а то, чего нет, слышит превосходно. Я закричал:

– Я говорю – де-ци-бел! Децибел! Тихо у меня дома, вот что! Ясно?

– А у кого тогда с самого утра Егор Крид надрывается?

Я ещё тогда подумал: это ж надо, какое совпадение – Егор Крид и Егор Кридович... Тут я опять вспомнил поезд. Именно там мужчина рассказал мне о поминках. Но если то был сон, то как тогда я в конце концов действительно на них оказался? Тоже, что ли, совпадение?

Я ответил:

– А мне почём знать? Я вам не справочное бюро. У меня тихо.

– Ну и что прикажете делать? – спросил голос из-за двери, как будто это я должен был решать его проблемы.

– Откуда я знаю? Что хотите – то и делайте.

Я смотрел в глазок. Мужчина постоял на месте, повертелся, как селезень, и ушёл.

Меня потревожили в самый неподходящий момент. Помнится, мысли уже начали было приходить в порядок, я перестал метаться от одного мысленного дела к другому, я уже почти смирился и успокоился. Я думал о том, как Андрей в советской кафешке сказал, что сперва нужно подождать лет этак пять, – и тогда, может, если Меркурий перестанет морочить голову, звёзды сойдутся так, что мир обо мне узнает и заговорит, и не будет больше смолкать никогда. Моё имя не будет сходить с телеэкранов и передовиц жёлтой прессы... Блюда в ресторанных табльдотах будут называть в мою честь. Какую-нибудь из автобусных станций даже нарекут моим именем! Ну, последнее – это уже я сам добавил и не вслух – так ослепительна и желанна была для меня слава. И тогда я прикинул: два года уже пишу, значит, три осталось. Вопрос в том, будет ли это через три года ещё актуально?

Я знал свои тенденции. А тенденции у меня были очень простые: я загорался каким-нибудь делом, лихорадочно и с головой в него погружался, ничего более не замечая, отказываясь от еды, сна и секса, буквально тонул в нём, а через месяц-другой мне всё это осточертевало, я начинал грустить и переходил к чему-то новому, столь же беспрецедентно бесполезному, как и прошлое хобби. Это только с писательством я протянул два года. А всё остальное...

Вот, например, пианино. В прошлом году заказал себе белое электронное пианино из Японии. Мне везли его два месяца, и два месяца я представлял, как буду выходить на огромную сцену и сражать всех своей виртуозностью. Мне его привезли, я пару недель на него смотрел, приценивался, потом разучил какую-то примитивную мелодию и наконец с фатальной разочарованностью себе признался, что просто так на сцену даже шутов не пускают и что надо работать аки вол, работать и работать. Работа, однако, мне претила в любых своих проявлениях. Я предпочитал размышлять, это да, или что-нибудь кому-то советовать – но уж никак не работать. Тогда и решил – а ну его. Пойду лучше чая поем или борща попою – так я подумал. И пошёл, и забыл про пианино. Так, разучил однажды кое-что романтическое, чтобы быстрее склонять сомневающихся дам к разврату, и на этом дело закончилось.

Я себя знаю. Хорошо знаю. Поэтому будет ли писательство актуально через какой-то неопределённый срок, в особенности через три года, – мне неизвестно и известно станет только через три эти самые года. А это нужно ждать, а ждать мне лень, тем более что до этого момента придётся пережить три, соответственно, зимы, когда время тянет кота за яйца так, что по субъективным ощущениям это уже будет не три года, а все тридцать. Или тридцать два. Так вот, тридцать два года я ждать не готов. Лучше уж борща или чаю и какое-нибудь обыкновенное, простецкое существование.

А ещё я подумал: на кой ляд мне та известность? Что я с ней буду делать? Сколько историй, когда очередная «звезда» затухает в собственном особняке на окраине Лос-Анджелеса, спиваясь, или варится в котле одних и тех же тусовок, одних и тех же харь, потому что нормально даже в ресторан сходить невозможно: по закону добра и славы ты не доешь свой филе миньон и не допьёшь вино из Калифорнии, без того чтобы сто ополоумевших фанатов не сунуло тебе под нос тысячу клочков бумаги в надежде заполучить желанный автограф. Это в хорошие дни и в безветренную погоду. А в худшие что происходит, об этом ты вообще предпочтёшь не распространяться. Незамеченным не пёрднешь даже в кустах своей виллы. Разве это жизнь? Слишком часто я задаю себе этот вопрос...

Слава – это такой гнусный, мерзкий инструментик, которым эго тешит своё самолюбие, тешит и тешит, ещё и ещё, и оттого раздувается, шваль, до невероятных размеров. Это ненасытная тварь, и чем больше её кормишь, тем больше она требует взамен. Здесь нет и не может быть никакой справедливости. Поэтому, решил я, тридцать лет или три года – неважно. Я ждать не буду, потому что мне эта слава до фени, до одного она мне места. Я, если так подумать, и вовсе её не желаю. Даже как бы напротив: хочу стать рекордно безвестным, и, если получится в таком состоянии не унывать, это будет значить, что дух мой силён, крепок, как ягодичные мышцы тяжелоатлета, и меня не сломить никакими ментальными штучками. Это будет значить, что я с собой смирился и обрёл долгожданный покой, – вот тогда и можно будет искать настоящих лучей славы, и то только потому, что они мне уже нужны не будут.

Ну и вот сижу я, как было сказано, уже почти обретший покой и сам с собой смирившийся, не желающий ни славы, ни признания, ни бабы, ни чего-либо ещё, как тут настойчиво начинают колотить в дверь моего дворца. У, сволота!

Но, в общем, я на этого педераста посмотрел в глазок, понял, что не может он причинить какого-либо вреда моему величию, что он совершенно безвреден, как салфетка

на столе или бычок на полу тамбура, и перестал на него злиться. Ради бога, подумал я. А вместо этого, когда он ушёл, стал придумывать, чем бы всё-таки заняться. Аудиокнигу ли послушать, журнал ли почитать, или, может, включить звериный ритм вандальского бибоба и ещё раз, на всякий случай, протереть пол для пущей чистоты? Может, в конце концов, подвязать монстеру? На прошлой неделе я начал её подвязывать, её распавшиеся ветви, но моего терпения не хватило, и я бросил на половине, как это со мной часто случается, ну вы и так уже поняли. Теперь только пять из, наверное, сорока ветвей были подвязаны. Она занимала целый угол, без спроса сокращая мою жилплощадь на пару дорогих квадратных метров. Надо было это закончить, но сегодня не такой день, чтобы что-то заканчивать, и тупому понятно, поэтому я стал думать дальше.

Я пару минут постоял в прихожей на балансборде, ловя равновесие и пытаюсь сделать стойку на одной ноге. У меня никогда она не получалась и в этот раз тоже не получилась. Я разочарованно сошёл с доски и только теперь заметил, что не чувствую обеих ног. Пока я восседал в кресле, думая горькие свои думы, ноги совершенно затекли, позабыв о том, что рождены были с важной стратегической целью: держать меня над низменным тленом, поверх всей суеты и праха. И как только я это почувствовал, они перестали слушаться моих команд, стали ватными. Я даже чуть не упал, как-то неуклюже покосившись в сторону, но успел вовремя схватиться за шкаф и удержать себя на месте. Так я стоял какое-то время, ожидая, что же произойдёт. Ожидая и страшась, потому что я абсолютно точно знал, что произойдет, и в этом не было никаких сомнений. Дальше начнётся покалывание в ноге, потом оно перейдет на другую, и это будет терпимо, но покалывание станет стремительно нарастать и нарастать, пока не превратится в ужасающую экзистенциальную пытку внутри моего тела, при которой ничто не помогает: чешти не чешти, а зуд будет только усиливаться, пока и он в свою очередь не превратится в голубой безграничный шар кундалини – я в это время уже буду падать на пол – и не взорвётся феромонами так, что все бабёнки в округе попадают в обморок.

И поползут слухи: в сорок девятой квартире, по такому-то адресу, первый и единственный подъезд, восьмой этаж от лифта налево, если заходили в обычный, и направо, если в грузовой, живёт такой человек по имени Павел, и у Павлика этого – и тут все переходят на шёпот, как на заседании ж/д комиссии, чего-то то ли стыдись, то ли боясь спугнуть кого-то, кого не понятно, – у этого Павлика такие нежные руки и такие щекотливые ноги, что он лучший повар на свете, и ещё никто не видел, чтобы так изящно готовили яйца пашот или жарили шампиньоны, но и это не главное – тут уж все совсем замолкают и начинают общаться мыслями, – самое главное, что Павел этот, кудесник наивысшего уровня и запредельной степени, бывший пьяница и дебошир, он раз в неделю, когда засидится, взрывается облаком кундалини, корчась на полу своей скромной прихожей, и вот тогда у местных женщин не остаётся никаких других вариантов, кроме как пойти по вышеуказанному адресу, в любое время после обеда, и слиться с ним в каком-нибудь нечеловеческом экстазе.

Все шепчутся мыслями, а я смотрю по сторонам, и мне неуютно от такого внимания – поэтому я опять выбегаю из здания, вдыхаю полной грудью, что-то кричу, а сзади меня раздаётся:

– Вы тут что?!

Наваждение. Не обращай внимания. У тебя очень сильно чешутся ноги, от и, так сказать, до. В этом всё дело. Ничего сделать нельзя – и ты это знаешь. Поэтому единственное, что сделать всё-таки можно, – это перетерпеть. Замолчать, стиснуть зубы и перетерпеть, как терпишь ты посредственную литературу и изворотливые улыбки. Каждый раз ты терпишь, и то же самое придётся сделать сейчас.

Я стиснул челюсть до боли в зубах, аж в ушах зазвенело. Как хорошо иметь зубы! Сколько раз я искушал судьбу, а она ни разу на них даже не позарилась. Ей мои зубы были безразличны и неинтересны, а может, и казались интересными и даже привлекательными, но она меня жалела и не подавала виду? Не хотел бы я, чтобы меня

кто-нибудь жалел. Лучше я сам кого-нибудь пожалею. Так, когда я приходил к своему стоматологу, а стоматологом моим была великолепная девушка с блистательной улыбкой, я поступал следующим образом: вместо того чтобы жалеть себя и думать о том, как же сейчас будет больно, а будет больно, это я знал, я начинал мысленно жалеть её, стоматолога, и про себя приговаривал: Василина Игоревна, эх, Василина Игоревна, да за что же с вами так жизнь обошлась! За что выпали на долю вашу такие зверские испытания? Стоять раком восемь часов в день, ковыряясь в чьём-то орале. О, Василина, о, Игоревна!

Потом я ещё смотрел на икону, которая предусмотрительно была повешена прямо перед креслом пациента, чуть выше. Она, как в церкви, должна была со своей высоты и своей непогрешимостью всякий раз напоминать тебе, что ты существо по своей сути обречённое, мерзкое, склонное к дебилизму, она должна была унижать и раздавливать. И каждый раз, как я её видел, а на ней – образ непорочной девы Марии с младенцем в руках, серьёзную, словно решает, заказать ей шашлык или лучше сразу приступить к терпкому десерту, я не мог удержаться от смеха, смеялся, и начинала смеяться Василина Игоревна, потому что это так странно, когда человек, которому сверлят С1 без анестезии, смеётся, а потом смеялась уже и её помощница и та, что сидела на ресепшене, и никто не знал, над чем это все потешаются. И вот через пару минут смеялась уже вся клиника, и тут я останавливался и думал: боже, как же жалко-то Василину Игоревну, как нелегко пришлось ей в своём стоматологическом существовании, поза раком требует нечеловеческой выдержки!..

Нужно всего лишь перетерпеть, не жалея себя, повторял я опять и опять.

Между прочим, так было и с моей принятой к публикации рукописью. Я не знал, что есть какой-то разумный предел скорости, поэтому наивно подумал: чего мне мучиться, напишу книгу за неделю. Почему вообще люди не пишут романы за неделю? Это такой хороший срок – неделя. Семь дней. Но потом, потом решил, что неделя – банально и что лучше уж шесть дней, по образу и подобию Всевышнего. И написал. Понедельник, вторник, среда...

А что у нас сегодня? Сегодня как раз среда (наверное, всё же не вторник)! Из редакции писали, чтобы я приезжал в среду... Да, но эта боль в ногах... Лучше всего писать книги за неделю, в одном порыве, без сюсюканий и баловства, без уныния. Как викинг – сел и написал, и никаких отговорок! Пусть строки берут своё начало в первичном хаосе, в разрозненности дум. Пусть пальцы твои идут впереди твоей мысли!

На позапрошлую свою книгу, для примера, я потратил около полутора лет своей блистательной, ни с чем не сравнимой жизни, и теперь мне совсем не хотелось опять погружаться в эту трясину забвения и напряжения. Полтора года мрака! За полтора года можно дважды эмигрировать и сменить несколько сексуальных партнёров. Пожить триста семь дней в Симферополе (снова), завести парочку курортных романов, в оставшееся время заделаться бунтарём и радикалом, выучить наконец один этот чёртов стих поэта Бродского, под которым в туалете завелись какие-то гнусные твари, но тебе их жалко, можно над ними сжалиться, как над Василиной Игоревной, распиливающей тебе зубы, совсем неинтересные твоей искушённой судьбе, сжалиться и не раздавить насекомых, а вместо этого аккуратно накрыть их обратно килограммом стихов и поблагодарить Бродского за участие и поэзию, что она дала убежище паре страшненьких пресмыкающихся. За это время – ха! – да за это время можно что вообще угодно!

Даже за полгода можно – вон сколько всего! Кроме переговоров с террористами, я научился читать рецепты по диагонали, точить нож из дамасской стали под верным углом, узнал, что цуккини – это почти те же кабачки, а кабачки, в свою очередь, не баклажаны. Кухня стала моим алтарём, моей религией, потому что а что ещё делать на самоизоляции? Я начал усилием воли и почти без ошибок распознавать чашки и стаканы, при этом синхронно отличая их от фужеров с кружками. Я погрузился в молчаливое одиночество и стал в нём процветать, как сирень на клумбах под моим балконом. За это время я успел

подружиться с чайками, что свили гнездо на моей кухонной лоджии, и в прах разругаться с воронами парка Ким Чен Ына, которые постоянно на меня набрасываются, как на миссионера капитализма. Можно совершить бесконечное количество нужных и не очень дел.

Да кого я обманываю – я бы просто не выдержал ещё одной ненавистной мне книги и такого изнурительного, стахановского труда. Я подумал: да, неделя – это хороший срок. Неделю, пожалуй что, и вытерплю. Даже не неделю, а шесть дней – для красоты мемуаров. Поработать шесть дней и, богоподобно, снова ничего не делать на седьмой. Кто-то творил мир, а я создаю собственную вселенную, в которой, догадайтесь, кто царь. Я безотлагательно взялся за дело.

20

В среду вечером заварил себе крепкого чифиру, из расчёта по два литра на день, сел за стол и начал отбивать слова по клавишам, сосредоточенно и ни на что, кроме чая, не прерываясь. Так вот, я говорю, я не знал ни о каких пределах, – и поэтому было твёрдо решено: чтобы за неделю написать небольшой роман, нужно выдавать около семи тысяч слов каждые сутки. Соответственно, я столько и выдавал, а иногда и больше, и тогда совсем не оставалось времени на сон, потому что одну часть времени я печатал, другую – либо умывался, либо принимал душ, либо сидел в туалете с Бродским и насекомыми, либо о чём-то напряжённо думал в кресле. К следующему вторнику книга была полностью готова, а я совершенно измотан из-за бессонницы, но доволен проделанной работой. Текст сиял на моём планшете, я его каждую минуту открывал и смотрел на буквы в эсхатологическом восторге: так красиво, буйно и изысканно я не писал с десятого года!

На большое произведение я сейчас не способен. Я здраво оценивал свои возможности. Это месяцы нудной кропотливой маеты, редактуры, выверки. Тут глагол не такой, здесь деепричастие не к месту, вот тут лучше сказать так, а от этого совсем избавиться. Кошмар, кошмар. Это как загореться идеей, а тебе кайфоломщики и говорят: что ж, неплохо, только придётся подождать лет этак пять.

– Какие пять лет?! Нафига? – возмутился я, но Андрей не шутил. Это и было самое страшное: он не шутил. Он был не из шутников.

– Да, пять лет, всё так. Я ждал пять лет, и знакомые мои ждали пять лет, и их знакомые – тоже...

– Почему именно пять? Зачем ждать? Чего ждать-то? Откуда такие цифры? – спросил я, чувствуя, как надежда гаснет вместе с идеей стать писателем.

– Никто не знает, но почему-то именно пять. А зачем ждать – вопрос философский. Так надо, видишь ли. Законы Вселенной. Наверное, за этот срок ты обрастаешь жирком, все убеждаются в серьёзности твоих намерений и всё такое. Надо, Федя, надо.

Я посмотрел на флаг СССР. Мои намерения серьёзны – бог свидетель, – как этот флаг, но столько ждать я не собираюсь. Теперь флаг больше не казался таким кровавым, скорее был привлекательным. В Союзе не нужно было ждать пять лет, там не было хороших писателей, потому что тех, что были, просто-напросто не печатали. Там можно было себя не мучить и спокойно идти на завод, а по выходным для друзей пописывать чего в общей тетрадке. Ну или эмигрировать без возможности возврата.

– А как же, – я подскочил на месте, вспомнив про копию рукописи «В дороге», которую недавно получил по почте, – Керуак? Он же свой хит сразу написал, три недели или сколько там, – и ничего ждать ему не приходилось!

– Э-э-э, нет, – протянул Андрей, с умным видом поправляя очки. – Во-первых, он несколько раз пробовал написать эту книгу, начиная с сорок седьмого года, и только в пятьдесят первом у него это получилось. А во-вторых, он ещё шесть лет её потом мучал, редактировал, прежде чем ту взяли в печать в пятьдесят седьмом. Так-то...

«Ходячая прям энциклопедия, ёб твою мать», – сказал я себе ненавистно.

В любом случае, ввиду этих фактов мне пришлось отвести идею объёмной книги. Никаких марафонов, никаких эпосов. Когда я пишу, когда я словами бегу длинную дистанцию, где-то посередине я начинаю рассеянно терять нить повествования, оглядываться по сторонам, забываю, что было в начале и что хотел написать в конце, и в итоге вся эта груда разваливается, превращаясь в печальные руины бессвязных слогов, на которые-то и смотреть тяжковато, не то что редактировать: от редактуры вообще тошнит и хочется закопаться под линолеум.

Я взглянул на пол. Линолеум лежал ровно, идеально, бесчувственно. И зачем я хотел положить вместо него пробку? Линолеум очень практичен. На нём можно вот так вот сидеть, упав, и никто тебе ничего не скажет. Сидеть или лежать и бить ногами об пол – и никто, ни одна душа на свете не станет тебе перечить. Другое дело, если заведёшь себе девушку... Как-то некрасиво я, впрочем, выражаюсь... «Заведёшь». Как собаку. Тебе точно нужен пёс. Ирландский сеттер или золотистый ретривер. «Когда вступишь в отношения». Вот, да! Когда вступишь в отношения с девушкой... Всё равно не то. Пафосно как-то, как у Кобзона. Когда вы начнёте встречаться с девушкой... Кто вы? Ты и тот хач, к которому ушла твоя вторая? С вас получился бы отличный любовный треугольник, без сомнений... Чёрт, я уже редактирую собственные мысли... В общем, когда мы с какой-нибудь девушкой решим, что у нас всё серьёзно, тогда уже не получится сидеть вот так на полу раскорячившись – на линолеуме ли, или на пробке. Поэтому наслаждайся одиночеством, это раз, и не пиши ничего длиннее большой повести или короткого романа, это два. Ведь прошлую книгу ты вроде как и написал, да только вот закрыл её и никому не показываешь.

Лучше уж в таком случае просто писать гороскопы в какой-нибудь гламурный журнальчик для девочек-подростков, интересующихся пирсингом в причинных местах и тяжёлой депрессивной музыкой, а также самыми безобидными видами суицида. Там хотя бы не будет никаких мучений и угрызений совести, что делаешь что-то спустя рукава. Как можно спустя рукава писать дерьмовые, лживые гороскопы? Как можно спустя рукава писать: «азарт – ваше второе имя...», «избегайте риска и авантюры...», «Меркурий морочит вам голову»?

В таких лингвистических координатах, с одной только осью икс, а иногда и без неё, даже теоретически невозможно ошибиться – настолько низка планка подобной писанины. Что угодно пиши, хоть про то, будто бабушки в окне – это к спелым помидорам. Всё сойдёт, тебя ещё похвалят. И выдадут гонорар. И попросят написать для следующей недели. А потом заключат контракт на год или на пятьдесят, чтобы уж точно не потерять твоё лжеталантливое перо с твоими лжеталантливыми мозгами.

«Сторонитесь спрятанных в осоке пряников и как можно чаще участвуйте в электронных торгах». «Понедельник будет первым днём недели, вторник – вторым, а среда уже четвёртым, поэтому будьте осторожны на крутых поворотах, если ваши поворотники вдребезги разбиты». «Не берите займы – вас ждёт сюрприз, а также, возможно, беременность». «На вас благотворно влияет низкое атмосферное давление и кокосовое масло, которое вы ещё не купили». «Благодарите начальника, переходя на кетодиету, и ни за что не просите повышения». Высший пилотаж. Ваби-саби.

21

Вариант оставался один: яростный скачок в безбрежное и запредельное. Туда, где дым не поднимается вверх и не падает на землю, а застывает, где почти возник, рядом с кадиллом, в очаровании мгновением и всем, что его окружает. Мне надо было выплеснуть всю свою воду, осушить чашу так, чтобы на дне ничего не осталось, потому что слишком долго я копил то, что копил, и вот теперь накопилось.

Зазвонил телефон. Тогда я ещё, кажется, держался на ногах. Да сколько можно!!! Четвёртый раз или третий? Чёрт! Не имеет значения, потому что надо циркулярной пилой аккуратно, не спеша лишить рук тех, кто звонит так некстати! Меня ведь уже подняли с

кресла – так что мне стоило снять трубку? Я был буквально на полпути к спальне, пару метров – и я у телефона, разговариваю с незнакомцем, а поэтому с удовольствием пошёл бы и ответил, кто бы это ни был, и выложил бы им/ему/ей всё, что о них/нём/ней думаю, прямо как в девяностых, когда не было определителей, послал бы на три буквы, потому что и здесь накопилось, и здесь мне нужно было выплеснуть всю свою воду, осушить чашу, но ноги не слушались, и я так и стоял, как старый инвалид перед военной гвардией, опершись о шкаф в прихожей и бессильно, мучительно смотря в сторону спальни.

Сейчас начнётся, думал я и ждал. Ждал и страшился. Звонок. Сейчас заколет. Сейчас заколет так, что я мигом утону в печали, потом начнётся неудержимая щекотка, и я скрючусь в агонии над своими ногами, не зная, что с ними делать, и буду ждать, и терпеть, и преодолевать, потому что ничего другого не останется, и единственное, что можно будет сделать, – это не делать ничего.

Я не ошибся. Через минуту закололо в левой икре, потом в правой, потом тысячи маленьких иголок вонзились в мои бёдра одновременно, стали подниматься выше, пока не дошли до самого паха, и наконец все вместе, как в сыгранном хоре с очень хорошим ловким дирижёром, знающим своё дело назубок, разом переросли в нестерпимый зуд верхней октавы, и я согнулся пополам, я присел и стал судорожно разминать их руками, но от этого чёс становился ещё нестерпимее, и я говорил про себя: боже, боже, да когда это закончится?! А оно всё не кончалось, и мысли мои впивались в ноги, как спицы, а когда ощущения стали совершенно невыносимы, я плюхнулся на задницу и забил ногами по полу, как капризный ребёнок, и стал думать обо всём на свете, лишь бы не присутствовать при этой инквизиции.

Что мне делать? Чем-то надо заняться, кроме всего вот этого вот позора. Что я делал сегодня? Сегодня я ничего не делал. Спал ли я? Нет, кажется, не спал. Как же это я, однако, не спал, когда перед утром была ночь, а ночью я по обыкновению исследую царство Морфея? Что же я тогда делал? Я не знаю, что я делал ночью, но я точно не спал. Может, я просто закрыл глаза, не мог заснуть, хоть и пытался? Это возможно. Так, а какой сегодня день? Забыл опять. Пара напряжённых секунд – и приходит неуверенная мысль: пятница? Нет, не пятница. Так, может, среда? Вот среда – это возможно. Точно, среда. А значит, что позавчера я только всё и дописал, так, что ли, получается? Почему же мне казалось, что прошло две недели? Ну как почему, отвечал я себе. Да потому, что не спал ты всю ночь, вот и показалось тебе, что прошло столько времени. А когда же я успел отправить всё в редакцию? Вот вчера до обеда, значит, и отправил. Всё просто. Отправил до обеда, а после обеда – они тебе ответили, потому что не могли не ответить: такое это гениальное произведение!

«Думаешь?» – спросил я кого-то, но никто, как обычно (я уже начал привыкать), не ответил, потому что, кроме меня и моих бедных, бедных моих ног, тут никого не было. Я массажировал их, корчась от боли и одновременно смеясь от щекотки, меня буквально разрывало на части, я плакал. Успокаивала только одна мысль: что когда-нибудь этому тоже настанет конец.

Я встал на колени, как будто в молитве собирался поцеловать чью-то руку, и пробовал раскачиваться взад-вперёд, ища её, пока – дзыыынь! – телефон продолжал звонить и звонил всё громче, и тем громче, чем сильнее чесались у меня ноги. Я растирал их ладонями, мямлял, а в голове проносилось: никогда, никогда, никогда это не кончится! Ты, может, всё это и заслужил! «Ты, никчёмный писака, заслужил этого и гораздо больше!» – «Что же именно я заслужил?» – зло ослабил я, распластываясь на линолеуме. – «Как знать, может, ты заслужил чуть-чуть признания, и это больно, потому что что может быть больнее, чем знание, что ты немного талантлив». Я скривил губы. Она права. Лучше уж, чтобы обо мне не знали. Так будет спокойнее. «Вот я о чём и говорю! Не надо тебе никуда ехать! А ещё лучше – напиши в редакцию, что запрещаешь им публикацию, даже первой части!» – «Но как...» – «А вот так! – говорила она во мне своим противным голосом,

перебивая, не дослушивая. – Так и напиши! Не смейте, мол, убогие! Руки прочь от Вьетнама». – «Так и сказать?» – «Так и сказать».

Ну уж нет, дурачка нашла, сдавленно хохотнул я. Как же. Это саботаж. Вот теперь так точно возьму, соберусь и поеду! Потому что неведомы мне никакие преграды и пределов я не знаю! И ни на какое «чуть-чуть» и «немного» я не согласен. Если уж идти до конца – так идти до конца и не думать. Не слушать разум, не слушать совесть, слушать только интуицию. А для этого было бы неплохо, кстати, чтобы первые два заткнулись, потому что орут они так, что никого другого не слышно.

Боль в ногах тем временем утихла. Я всё ещё потирал их руками. Какое нелепое зрелище. Писатель сидит посреди прихожей и растирает ноги. Какое жалкое зрелище. Хорошо, меня никто не видит, а то бы презирали меня и перестали здороваться, стали бы обходить за километр. Я поскорее заставил себя встать, придерживаясь за шкаф, боясь в собственных глазах так и запомниться: беспомощно сидящим в прихожей на поливинилхлориде вместо белёной пробки.

Что-то похожее уже бывало не раз, но это было в те времена, когда я баловался запоями. Я не только сидел в прихожей. В прихожей я лежал, спал, совокуплялся, и рвало меня в прихожей, и чего только в прихожей со мной не происходило. Как правило, это были не мои прихожие. Мне опротивели эти воспоминания, я не хотел об этом думать, поэтому встал, потоптался на месте, чтобы убедиться, что твёрдо держусь на ногах, и, прихрамывая, на манер зомби подволакивая ступни, пошёл в спальню.

Телефон лежал на подушке. Что ж, подумал я ехидно, сейчас и узнаем, кто считает, что у него три жизни – по одной на каждый совершённый звонок. Посмели меня тревожить! А вдруг я чем-то был занят? Вдруг, в конце концов, спал после недельной бессонницы? Неужели нельзя проявить немного сострадания и предусмотрительности, для начала позвонив в дверь, и только потом уже набирать мой сакральный номер? написать сообщение и только потом уже звонить? Это кажется нелогичным, но именно так поступать и следует, если только ты не плебей с узкими взглядами на мир и манеры. Может, мне неохота ни с кем разговаривать? Может, я в каком-нибудь трауре?

Сейчас всё узнаю. Я наберу неотвеченный номер и вкрадчиво скажу, смакуя каждое слово: «Тварь, смертельной поступью иду я по твою душу. Назови свой адрес и время, когда можно будет тебя там застать». Я с улыбкой беру телефон, но он не включается. Пару раз вжимаю кнопку питания – бесполезно. Сел. Твою ж мать... Дешёвая обивка не очень, а всё же в ней гораздо уютнее, чем стоя на предательских ногах посреди собственной спальни. Я поставил телефон на зарядку и в нетерпении заходил по комнате. Впрочем, сам виноват. Если бы не сидел на одном месте, ноги бы и не затекли. Да и вообще, стареешь ты, парень...

«Ещё год – а что же ты сделал?» Может, пробежаться, подумал я, не обращая внимания на её навязчивые реплики. Я посмотрел в окно. По-прежнему лил дождь. Он, кажется, стал ещё плотнее. Теперь совсем ничего не было видно: ни деревьев, ни даже намёка на противоположный дом. Только крупные мутные капли дождя. Ясно. Бег отпадает. Что ещё? Какие варианты? «Тридцать три тебе будет в этом декабре – и что же ты скажешь Господу шестнадцатого числа?» А что я ему скажу? Надо ли ему что-либо говорить? Я, может, просто пожму плечами, как мужик в вагоне. Или скажу, что пусть сначала покажет мне дым, а потом...

Нет, дым такой я уже где-то видел. Только где? Да неважно. Может, и не видел. Может, всё же приснилось или привиделось. Я столько дней не спал, что вполне могу галлюцинировать наяву, а если не галлюцинирую, так тем более удивительно. Да, но всё же – такой ведь дым, который не шевелится, а стоит на месте, ты уже где-то видел? Ну видел, видел, и что? Тут обрывки каких-то видений стали вразнобой всплывать в моей памяти. Церковь, дождь, девушка, танец... Вот я среди тёмных печальных людей, поп с кадилом ходит между рядами, и дым из кадила этого выходит и так и повисает в воздухе в раздумье, отправляться ли под купола. Вот где я это видел!

Я выбежал на улицу, девушка... Что было дальше? Я быстро и взволнованно замельтешил по комнате. Когда это было? На прошлой неделе? Не может быть, я ведь писал книгу и никуда не выходил. Да, но вчера ведь ты бегал, был на пробежке? Значит, всё-таки выходил, это мы уже установили, поэтому и на прошлой неделе выходить мог... Одна мысль перебивала другую. Кажется, что книгу я дописал уже как две недели назад, да, но ведь это только кажется, верно? Я отправил – до обеда, они ответили – после. Скорее всего, было по-другому. Скорее всего, я просто не спал эту ночь, верно, и мне показалось, что прошла уйма времени, вот я и суечусь, как *Bombus*, а меж тем стоило бы присесть и успокоиться. Я начал было садиться, но тут же встал. Я постоял у постели, сожалея о том, что всё-таки не сел, потому что, если бы сел, – не увидел бы, что постель не убрана и скомкана, как будто в ней спал дьявол. Я увидел этот бардак, и садиться мне перехотелось, поэтому я снова зашагал кругами по комнате, переступая расстеленный на полу коврик для йоги.

А йогой – йогой ты сегодня занимался? Да, наверное, и не занимался. Я как встал с утра, умылся, так и сел в кресло и больше не вставал. И думал о всяком. Но йогой не занимался, это уж точно. И вчера тоже не занимался. И позавчера. Словом, забросил любые физические упражнения, сделав ставку на духовность и литературный труд. Только пальцы свои упражнял в скором печатании на планшете. Я ухмыльнулся. Всё-таки неплох ты, Павлуша, неплох. Семь тысяч в день – это солидно. О таком не стыдно рассказать людям. А порой ведь бывало и больше! Так можно за год сколько книг написать? Пятьдесят две – по количеству недель.

Пятьдесят два... Интересно, как я буду выглядеть в пятьдесят два? Уж надеюсь, точно не как этот педрила-мученик из коридора. А если всё же... Нет! Я крикнул: «Нет! Никаких “если” и “всё же”! Я буду выглядеть прекрасно. Мой торс будет копией древнегреческих статуй. Мои очертания будут пленить женщин и наталкивать мужчин на сочинение поэм и неприличные мысли! Вот таким я буду в пятьдесят два! А вот в тридцать три каким я буду – это вопрос...»

Что это – кризис среднего возраста? Исключено: он миновал меня в двадцать девять. А дважды кризис среднего возраста не наступает, иначе бы люди просто поехали крышей, так, как я, поехали бы крышей и уже разговаривали бы сами с собой, сбегая по лестнице и возвращаясь обратно, – с затаённым дыханием и каким-нибудь сюрпризом, или, может, просто беременные.

Я вышел из спальни и вошёл в кухню. Аппетита не было, еды на виду тоже, только, вероятно, в холодильнике, поэтому, пожав плечами, как перед Господом, я вскипятил воду и залил чайник. Я сел за стол, положил голову на руки и подумал: но ведь так нельзя! Нельзя же весь день страдать подобным и ничего не делать! Ты можешь съездить в редакцию. Да, ты можешь и, более того, ты должен, нет, просто обязан туда попасть!

Я боролся со своими желаниями, нежеланиями и здравым рассудком. В редакцию ехать не хотелось, потому что по пути придётся неизбежно столкнуться с людьми, этими вездесущими людьми, а сейчас не та эпидемиобстановка, чтобы с ними сталкиваться. Кроме того, они все как на подбор ужасны. «Ну так надень маску или три!» – приказал я себе строго. Надень и не волнуйся, и не распускай здесь сопли. Спокойно езжай себе, куда там тебе надо. И тут слышу, опять: «А ты читал о масках? Читал ли, что они не помогают, а порой и наоборот – способствуют болезни? После такого путь один – прямиком на кладбище. Читал, а? Нет, небось, не читал...» – «Да вот, между прочим, и читал, ясно? Но что-то не особо верю». – «Правильно, не верь. Ты всё правильно думаешь. Лучше надень маску – и вперёд в толпу, улыбаться и стихи Бродского цитировать. Давай, чего же ты ждёшь, подонок? Люди ждут твоего пришествия».

Я попробовал только что заваренный чай, потому что тот, что делал с утра, обнаружить на кухне не удалось, и неприятно обжёг нёбо. Я поставил его обратно и

заходил вокруг обеденного стола в волнении против часовой стрелки, пытаясь слухом вникнуть в ритм дождя. Ладно, тут не всё так просто. Надо разобраться. Я же могу поехать на каком-нибудь таком транспорте, где народу практически не будет? И выбрать заодно такое время, когда никто не ездит. Какое это время? Ну, надо полагать, что обеденное. Вернее, чуть позже обеденного. Все только поели, всем лень куда-либо ехать. Как раз что мне надо. Сейчас, прикинул я, что-то около обеда, всё-таки время идёт. Чувствую седьмым чувством. Я и гнусавить не буду, и ворчать перестану, и вокруг меня никто не будет ни ворчать, ни гнусавить, ни вирус разносить. Только я и водитель. Отличный план. Так и поступлю.

В нестерпимом ожидании предстоящей встречи с редколлегией журнала я быстро собрался, побросал какие-то вещи в рюкзак, туда же закинул планшет, потом подумал, что на улице дождь и планшет намокнет, поэтому завернул его в уже сложенные вещи и только тогда снова положил в рюкзак. Подумал вслед за этим и решил, что незачем брать с собой технику, ведь я отправлял рукопись в редакцию – так на кой мне там планшет? Я поставил его обратно на столик в зале, походил туда-сюда. Потом я вспомнил о телефоне и забежал в спальню. Телефон уже набрал заряда и выдал на экране сообщение о трёх пропущенных звонках из редакции. Редакция! Видимо, хотели напомнить, чтобы поскорее приезжал за гонораром.

Перезванивать я не стал. Всё равно уже совсем скоро я распахну их дверь и, весь мокрый как собака, войду в их мёртвый воздух, чтобы его оживить. Мокрый, мокрый, думал я... К чему это я подумал о мокром... Ах да, на улице дождь! Не забыть зонтик! Я забросил зонтик в рюкзак, забежал в ванную, посмотрелся в зеркало. Отлично. Ты прекрасно выглядишь. Уверенный взгляд, рыжие, как всегда, волосы, улыбка с починенными Василиной зубами – всё на месте. Я чуть-чуть повернул голову налево, потом направо, вспоминая, какая у меня более красивая сторона. Правая, да. Значит, надо зайти в редакцию, немного повернув корпус влево, чтобы они сразу онемели, подобно моим ногам, и зачесались от восторга, что их писатель такой красивый.

Я выскочил из ванной, довольный, тридцать раз глубоко вдохнул и поверхностно выдохнул, по упрощённой до низин наших реалий фридайверской технике, поспешил выйти из квартиры, закрыл дверь и помчался вниз по лестнице. На первом этаже, так ни разу и не вдохнув и тем самым не рискнув и не подвергнув себя излишней авантюре, я вдруг подумал, что мог бы заранее вызвать такси, и чуть было не расстроился, но тут подумалось нечто другое, что в одночасье подняло мне настроение: никто не знает, как далеко добираться до этого Гонолеса, поэтому я, можно сказать, сэкономил теперь кучу денег.

Я рванул из подъезда, уже не думая ни о каком дожде, чтобы с изумлением обнаружить, что дождь перестал и теперь только еле-еле, как немощный старик, сочится сверху. Я улыбнулся своей удачливости. Какой прекрасный день! Всё складывается по моему плану.

23

Помня своё последнее не очень приятное путешествие в поезде, я решил на сей раз ехать на автобусе или на маршрутке – что будет отходить от остановки первым. Я сверился с расписанием. Ближайший автобус отправлялся в сторону Минского моря, туда, где должен был по расхожему мнению находиться нужный мне городок, через пять минут. Я спросил у грузной женщины в киоске, есть ли у неё последний номер «Звезды» и что хотелось бы приобрести билетик, а также, если она не против, не могла бы она подсказать, попаду ли я на тридцать третьем в Гонолес. Кассирша одним кивком утвердительно ответила на все три моих вопроса, протянула мне газету и пакетик сахара и молвила:

– Три пятнадцать.

Я оглянулся по сторонам, думая, что меня разыгрывают, ища взглядом подставу, пару раз сильно моргнул и, никого подозрительного не обнаружив, внимательно посмотрел на кассиршу.

– А сахар-то зачем?

Я знал, что она ответит.

– Идёт в комплекте, – сказала она, ничуть не смущаясь.

Абсурд. Я молча расплатился, не желая вступать в полемику, забрал газету, сахар и билет и стал ждать. Теперь осталось только доехать до редакции, получить свой гонорар, обо всём договориться – и можно следующие полгода ничего не писать, а только делать вид, что пишешь, пребывая при этом в максимальной прострации и наблюдая, как мировая финансовая система коллапсирует под тяжестью несвоевременной пандемии, а база поклонников моего творчества неуклонно растёт. А потом всё-таки снять отель с полным пансионом...

Но лучше бы, конечно, пандемия закончилась пораньше. Мне опять стало одиноко, захотелось к родителям. Взрослый мужик, но я к ним очень привык, в моей жизни они важны. Если это будет продолжаться ещё полгода, а может, кто его знает, и год – это что, я не увижу их до своего дня рождения или, ещё хуже, до следующего июля? Сюда я их тоже не позову, потому что опасаюсь за их здоровье – так что же мне делать?

На остановке никого не было, только какой-то алкоголик спал на лавке и по-собачьи дрыгал в тревожном сне ногой. Нелегко, ох нелегко ему придётся в этом кромешно-бодунном аду. Он ещё не знает, что спит, но это ладно – он ещё не знает, что скоро проснётся, и вот тогда, тогда начнутся самые кошмарные мучения, которые только доступны запойному пьянице. Я представил, как он очнётся на палящем солнце, когда небо прояснится, и решит идти в магазин за похмелом – конечно, мы понимаем, что ничего он не решит, так как нет и не было у него воли, он будет слепо повиноваться внутреннему позыву, он будет просто вынужден туда идти, если не хочет остаток дня проваляться в делириумном параличе, осатанев и потрясаясь. Он встанет и тут же рухнет обратно, потому что ноги его к этому времени, ясное дело, замлеют, а мимо будет проходить представитель закона в помятой фуражке и с почти оторванными погонами, но всё же не оторванными, зато с оторванным взглядом на вещи, не имеющим ничего общего с реальностью, и он у него спросит: «Вы пьяный?» А алкаш, уже протрезвев и проглянув в настоящее, разумеется, попытается объяснить, что, к великому сожалению и горю нации, а также всех его родственников до пятидесятого колена, два или три часа он уже как не пьян, абсолютнейше, категорически и безобразно трезв и что ноги его не слушаются только потому, что довелось ему проваляться на лавке в неуклюжей позе достаточно, по его смутным воспоминаниям, для этого долго. Естественно, мент не поверит и участливо предложит провести его до магазина. А проведёт – в вытрезвитель.

И я даже знаю в какой. В РУВД Фрунзенского района, в котором длинный такой пессимистичный коридор для функционеров, налево – медосвидетельствование, направо – оформление, чуть дальше, собственно, вытрезвитель. Когда меня туда забирали, вернее, доставляли моё тело, так будет правильней, я делал всё возможное, чтобы не дать ногам меня подвести. Я двадцать раз отжимался в надежде, что это выгонит промилле из крови. Но промилле никуда не девались, и меня долго и нудно оформляли по всей строгости и формальности процедуры, гоняя из кабинета в кабинет, в коридор и обратно, а потом до утра бросали в промозглую камеру. Вот так и с этим будет, думал я, и мне было одиноко, потому что я уже не пил, да и не желал я пить, но какой-то компании мне всё же не хватало.

Таково наше общество: взаимопомощь не приветствуется, подлянки ставятся выше Конституции.

Подъехал автобус. Как я и думал, в нём никого не оказалось. Я теребил в кармане пакетик сахара.

– Скажите, через сколько остановок Гонолес? – спросил я, но водитель меня не услышал.

Мы мчались дальше, разрывая воздух своими остроконечными телами. Салон был пуст, поэтому я заговорил вслух, чтобы хоть как-то себя развлечь, а водитель с опаской стал на меня озирается:

– Не так уж и плохо было в той каталажке, признай. Некоторым, вон, совсем спать негде, на остановках ложатся. Унизительно. Потому что все видят и осуждают. А в вытрезвителе никто, кроме тебя самого, не осудит. Поэтому сиди там, сколько влезет, пока на волю не выпустят, а как выпустят – так уж и иди куда-нибудь в незаметное место или место выдуманное, чтобы тебя не осуждали и не видели. Чтобы не портить другим праздник. Спрячься, исчезни и пей. Три бытовые заповеди революционного пролетариата. Если обобщить, то можно даже сказать, что вытрезвитель идёт в комплекте с алкоголем. Как сахар этот... Зачем она мне его дала? Лишние пятнадцать копеек. Предложу, пожалуй, кому-нибудь в редакции. Там они точно сахар употребляют: я ещё не видел ни одной редакции, где бы плохо относились к сахару. К патриархату и республиканцам – возможно, к таянию ледников – тоже, но не к сахару, никогда. Вот в моей, где я публикуюсь и где никогда нет главреда, – они все спят как сурки, а я всегда смотрю на их столы, и у каждого обязательно по полупустой чашке чего-то, какой-то заправшей жидкости, а рядом обязательно – неоткрытый пакетик сахара. Им, наверное, выдают их бесплатно. Если бы каждый стоил по пятнадцать копеек, то, я уверен, никто бы не догадался его покупать. Все бы одним махом сели на какую-нибудь кетодиету. Вот кстати, а в ней можно употреблять рафинированный сахар? А тростниковый? А подсластители? Впрочем, какая разница. Все мы одиноки и всем нам надо одно – компания таких же одиноких, чистосердечных, как мы, людей. И, может, чуть-чуть признания, чтобы понимать, как ничтожны мы в своей скромной славе по сравнению с теми гигантами, кого действительно природа наградила недюжинным талантом. А мы, что мы? Мы черви, не более...

24

Так я ехал, снова погружаясь в мрачные мысли, а автобус нёс меня сквозь запахи озона, мокрой резины и бесконечного зноя навстречу неизвестной зиме. В какой-то момент я вспомнил про газету и с интересом сразу раскрыл её на последней странице, там, где гороскоп. Передо мной был точь-в-точь тот же текст, что я читал дома. Да, всё так, это был номер за прошлую неделю. Я положил газету на соседнее место. По меньшей мере в неё не смогут завернуть таранку.

Раньше, чем я предполагал, на табло высветилось «ост. Гонолес». Я даже толком не успел всё обдумать, что хотел, и вышел из автобуса. Пройдя по карте два поворота, я оказался на неказистой улочке, которая упиралась в ивовую рощу, а справа возвышалась церковь и звонили колокола. Редакция должна была быть где-то за церковью. Я подошёл поближе. Внутри что-то происходило, какое-то движение, и я решил, раз уж тут оказался, зайти и мельком глянуть, что там всё-таки происходит. Если что интересное – обязательно об этом напишу в следующем романе. Для писателя пытливость – положительное качество. Чем больше мы оскверняем себе жизнь, тем в прямой пропорциональности у нас больше материала. А если нет – так выйду оттуда к чёртовой бабушке и забуду, как страшный сон.

Здесь я так и оказался. То есть всё-таки добровольно. Так и получилось, что, пока я был внутри, впитывая окрыляющий запах ладана и нестерпимую вонь мирры, снова пошёл дождь, и вот теперь стоял я под его леденящими струями, дышал полной грудью, потому что меня переполняла любовь, когда я видел её глаза перед собой – так она была великолепна! Она смотрела на меня, а я говорил, протягивая руку, что-то наподобие:

– Ну что же ты ждёшь, окаянная, выходи и вкуси настоящей стихии!

Девушка захихикала, решила, наверное, что перед ней блудный поэт, коим я, может, и являлся, во всяком случае мои произведения для меня никогда не были приземлённой прозой, они своим слогом бросали вызов основам поэзии. Она прижала указательный палец к своим губам в знак того, чтобы я говорил тише, и, вжав свою крохотную прекрасную головку в плечи, как будто это могло ей помочь, выбежала мне навстречу и стала под дождём, запрокинув лицо к небесам. И вот тогда-то я и посмотрел, как капли стекают по её губам, устремляясь по тоненьким ключицам к небольшим, но таким манящим грудям, и взял её за пояс и воскликнул:

– Я ждал тебя неизвестно сколько!

А она ничего не ответила, только засмеялась с закрытыми глазами, залилась смехом, и я её так, с закрытыми глазами, и поцеловал, и она не сопротивлялась. Она отдалась в мои руки целиком и расслабилась, а я её крепко держал и целовал, и не мог поверить своему счастью! Неужели я больше не одинок? Вот он – ответ на мои произнесённые молитвы? Конец душевному заточению! Теперь я буду безвольно сидеть на линолеуме, а она будет меня нежно упрекать и просить пересесть в моё любимое кресло, чтобы быть больше похожим на гомо сапиенс, а не на проказливую мартышку, и написать уже что-нибудь годное.

И почему я не боюсь? Почему не страшно мне, что у неё может быть коронавирус, просто пока что она об этом не знает? Почему я так мужественно в неё проникаю своим змеиным язычком? Потому что как она не знает о коронавирусе, так любовь не знает о страхе – вот почему! И поэтому я всё крепче сжимал её в своих руках, пока она куда-то не растворилась и я не увидел себя, стоящего у церкви, воздевшего руки к небу, промокшего до нитки и что-то нечленораздельно вопящего вверх. Рядом, в дверях церкви, маячило чьё-то старческое, покрытое морщинами лицо, которое недовольно мне шипело:

– Вы тут что?! А ну-ка заткнись, проходимец! Не видишь, что ли, служба идёт? Пошёл вон, пока милицию не вызвала!

Таково наше общество. Подлянки выше Конституции. Я посмотрел на женщину и сказал, в своё оправдание:

– Так ведь я к Егору Кридовичу, на панихиду...

– Видела я, как ты его поминаешь, алкаш недоделанный. Пошёл вон отсюда, я сказала, а не то!..

Она сделала какое-то опасное движение, как будто собирается выйти из дверей, я не знал, что у неё в руках, может, швабра, которой она нападёт мне по морде, как крестину, поэтому я тут же отступил, кинул последний взгляд на церковь с её надписью, уже почему-то с этой стороны, с парадной – «Церковь святителя Николая архиепископа Японского г. Гонолес», и выбежал за ограду, всё ещё безмерно радуясь, что Гонолес всё-таки существует, по меньшей мере эта его половина, даже если не существует той девушки, что мне причудилась!

А всё-таки жаль, что меня посетило такое обманчивое видение и что я на него купился. Как жаль. Думал, всё, теперь не бывать одиночеству, больше не буду скитаться по городским улицам, не поеду в центр знакомиться с кем попало, даже тиндер не открою, потому что вот оно – моё, которого я так долго ждал. Сколько же я ждал, получается? Выходит, чуть больше полугода. Полгода тщеты и безумия, тёмных холодных ночей и запретного молчания. Жуть. Я как с последней в декабре расстался, так больше никого и не заводил. Ну вот, опять «заводил». «Тебе, никак, пса не хватает!»

Я кивнул. Да, пса действительно не хватало. Золотистого ретривера или ирландского сеттера. Куда мне без пса-то? Мимо проплывали заборы, асфальт, ямы в асфальте, редкие мусорки, а окно всё мутнело и мутнело, и вот я уже опять ничего не видел, только сплошной какой-то уродский импрессионизм кисти уже не умелого художника, а посредственного гроссмейстера, который только и умеет, что фигуры переставлять, а по недоразумению вообразил всё же, что художник, хотя и переставлять, не отрицаю, тоже уметь надо. Первый раз вогнал меня в краску индус – владелец

вегетарианской кафешки, в которой я с недавних пор заделался постоянным клиентом. Мы всегда здоровались, но никогда не спрашивали имён друг друга. Я был высшей кастой, он был добрым и приветливым эмигрантом. Его интересовало, всего ли хватает, как сегодня палак панир, не желаю ли добавить сабджи, хорошо ли обслуживают, может, чего-нибудь ещё? Я говорил нет, спасибо, ничего больше не надо, потому что и так стол ломится от блюд, здесь явно больше, чем я могу осилить, говорил я из порядочности, а сам думал: пускай бы и принёс, что ему. Ну в общем, он меня в первый раз в шахматы под звуки какой-то индийской певицы, плавающей в бархатистой микрохроматике Востока, и сделал.

Мы пришли туда с другом и обедали, когда в моё поле зрения попала шахматная доска. Она одиноко стояла у стойки с восточными сладостями. В последний раз я играл с отцом лет этак двадцать назад, но ничего, подумал я, память я пропил не всю, и мастерство тоже. Мы уже закончили трапезу, послеобеденная лень вселилась в наши члены, болтать языком было влом, поэтому мы наугад расставили фигуры и начали любительский поединок. Посреди партии над нами склонился этот индус, молча и довлеюще. Он сразу распознал во мне способного и азартного игрока, поэтому, сжалившись над оппонентом, которого, вероятно, ждал разгром, стал подсказывать моему другу. Под конец так получилось, что напротив меня уже сидел индус, а друг, обескураженный, не понимающий что к чему, стоял в сторонке, молча наблюдая за партией. Мы играли долго и на износ, я выпил пять порций масалы, предложенной индусом за счёт заведения, несколько раз сменилась пластинка: с индийской на поп, обратно на индийскую и снова на поп – и в конце концов он поставил мне такой детский мат, что мне стало очень стыдно, я быстро расплатился, в том числе и за бесплатную масалу, и ушёл, позабыв о друге.

25

А что ещё я забыл? Мыслей с утра так и не убавилось. Это я помню. Денёк, однако. Что же будет вечером! Так что же я забыл? Чай – забыл чай дома выпить! Заварил и не выпил. Ну и пускай, с другой стороны, к вечеру хорошо настоится, и потом нормально так почифрую. За всех талантливых писателей мира почифрую, которых ещё меньше, чем сносных журналов в этой стране. Беда, беда в мире творится! Куда мы катимся... Или всё-таки что-то я пил? Ещё забыл зонтик с рюкзаком! Ага, вот оттого и идёшь как сквозь воду, и уже твоё остроконечное тело тебе не помогает. Я пару раз напряг мышцы, от ног до головы, чтобы хоть немного согреться. Я вглядывался в смазанную пустоту перед собой, но ничего не мог рассмотреть – да и нужно ли мне было что-то? – однако я шёл в сторону редакции – это я знал и чувствовал даже, интуицией. А разум напряжённо молчал, что-то предвкушая.

Всё произошло не так, как я думал. Сначала охранник не хотел меня пускать, потому что решил, будто я пойду по кабинетам просить милостыню. Пришлось достать свой телефон последней модели и тыкнуть ему этим гаджетом в рожу, чтобы он успокоился и осознал, что побирающиеся такого при себе не носят. Я видел в его взгляде сомнение, может, я где-то его украл, но всё же, поддавшись моему давлению и попросив записаться в журнал, он пропустил меня внутрь. Я поднялся на четвёртый этаж (как и в моей редакции) в поисках девятнадцатого кабинета. За мной тянулся мокрый след ботинок.

Ну вот, и это ещё забыл – ботинки! В смысле нет, ботиночки мои дряхлые исправно болтались на ногах – я забыл надеть порядочную обувь, такую, как на праздник или в магазин за водкой в свои времена регулярных поддач. Всё-таки для чего, а для редакции стоило бы позаботиться о том, чтобы быть при минимальном параде. Иначе что они решат?

Я забывался. Мне не было никакого дела до чужих мнений. Пусть думают, что хотят. Мне это безразлично, напомнил я себе строго. В конце концов, это их головы, а это

– моя, и в ней я имею право думать тоже, что захочу. И слава богу, что живу я в этот век, а не чуть позже, лет этак на сотню, потому что к тому времени, уверен, уже научатся читать чужие мысли, и вот тогда никому мало не покажется. Всех попересажаяют, как в тридцать седьмом, остальных расстреляют, а оставшихся либо запишут в союзники, либо опять же – сначала посадят, а потом расстреляют или наоборот. Потому что в мыслях наших все мы, без исключения, изверги.

Я чего только за свою жизнь не думал, но писать об этом, конечно, не буду, потому что тут же кто-нибудь смекнёт, приедет, скрутит и посадит, предварительно не выкопав, – настолько ужасные мысли приходили мне в голову. Обещайте никому не говорить. Вот зашёл я однажды в магазин и подумал: отрезать бы всем таксистам уши, чтоб не слушали Кобзона, а голодных африканских детишек – утопить в Ниле, плюс продавщица – я посмотрел на продавщицу, – ей бы кляп в рот и на костёр, чтоб не обсчитывала, и так далее. Почему я так подумал – чёрт его знает. Но это я, конечно, в шутку, и тем не менее: с какого перепугу я так подумал?

Ещё много чего подобного лезло мне в голову. Например, ем инжир под смоковницей, а сам думаю: вот бы присвоить Трампу почётное звание героя Советского Союза, а на Бангладеш сбросить три миллиарда кубометров священного коровьего дерьма. Или позакрывать в субботнее утро все магазины района на амбарные замки и сесть на лавочку поодаль лицезреть отчаяние на пропойских лицах. Или – вот бы всех шахматистов... к чёрту всех – вот того индуса из кафешки, обыграть бы его, замечтался я, не замечая, как прохожу кабинет за кабинетом. Закончится пандемия – а она когда-нибудь закончится, учёные в этом сходились, – я приду к нему и нагло так, высокомерно поставлю ему уничтожающий шах с матом. Потому что с отцом мы уже много месяцев ежедневно играем, повышаем квалификацию, то друг у друга выигрывая, то друг другу проигрывая, и ни разу ещё не было так, чтобы выиграли мы оба. И нас это не расстраивает, потому что мы знаем: каждое поражение делает человека ближе к победе.

О мыслях, ни моих, ни чьих-либо других, лучше никому не знать и никому не рассказывать. Лучше тихо-мирно заниматься себе своим делом и сильно не высовываться. Иди, куда идёшь, в общем, и помалкивай. Я и шёл, и вроде бы даже молчал, пока не упёрся в стену и не понял, что редакцию, видимо, пропустил. Тогда я развернулся и пошёл обратно.

26

Я смотрел на номера кабинетов и искал девятнадцатый номер. Из дверей иногда выходили люди – все они шли в тот конец, вернее, начало коридора, откуда я пришёл. Мне стало интересно, чего это они все туда прутся, поэтому пошёл туда сам, на время забыв о редакции. Здесь было тускло и тепло, и если приглушённое освещение меня никак не волновало, то тепло за последний час я быстро так научился ценить. Было приятно расшагивать в этом коридоре просто потому, что здесь не лило как из ведра. Когда я заходил, мои пальцы были окоченевшие и белые, так что я даже как следует не смог в журнале вывести свою подпись – получились какие-то подозрительные каракули. Будь я на месте охранника, вот честное слово, не пропустил бы даже с дорогим телефоном! Хороший охранник, спасибо ему.

Это всё химиотерапия. От неё что-то не так стало с сосудами, и вот даже по сей день незначительный холод делал мой средний палец на правой руке символически белым, кровь от него отливала, и нужно было хорошенько повертеть рукой, чтобы восстановить кровообращение. Когда мне, посреди очередного запоя, диагностировали рак, я резко и как-то без сожалений бросил свои идеи с эмиграцией и бухлом и незамедлительно вернулся из штатов, где на тот момент проживал уже пять лет, на родину (мой кризис среднего возраста начался именно тогда).

Природа что-то пыталась мне сказать, а разум и совесть орали так, что я ничего, говорю, не слышал. Подозреваю, что посыл был следующего содержания: хватит мучить

себя чужими хлебами, возвращайся обратно и делай что-то на благо страны. Дома хорошо. Я вернулся, но на благо что-то делать так и не взялся.

Дома было прекрасно. Я год лечился и вылечился, потому что поставил себе такую цель: вылечиться. Тут не то что третьего, тут второго не было дано. Вторым была смерть, долгая и мучительная, но неотвратимая. Я не стану вдаваться в подробности, но до сих пор этот палец выдаёт во мне прошедшего через ад. Поначалу даже вены болели, столько сквозь меня прогнали химии. *Per aspera ad astra*. Готовишь, например, салат, а у тебя болят вены. Или смотришь новости, по которым ничего хорошего не показывают, а у тебя – болят вены. Весь день вены только и болят, и, что бы ты ни делал, ни предпринимал, твои мысли заняты исключительно венами и тем, когда же они болеть перестанут.

Не жизнь, а пруха! Я радостно шёл вперёд посмотреть, куда все идут, но не обнаружил там ничего, кроме общественной уборной, где все сообща курили и, возможно, делали что-нибудь ещё. Я машинально помахал перед собой руками, как бы прогоняя едкое облако дыма, и направился обратно к девятнадцатому кабинету. По пути я читал таблички: «ОАО “Слуцкий Мясокомбинат”», «Ваша вывеска в аренду за 1 руб.», «Центр психического здоровья» (надо заглянуть), «Оплата услуг», «Нотариусы», «Родник Игуменщины». На роднике я читать перестал, потому что опять упёрся в противоположный конец коридора. Ебёна мать, да что это такое!

Я развернулся и расхлябанной походкой пошёл обратно. Где-то ближе к началу я почувствовал запах мертвечины. Вот оно, подумал я! От меня не спрячешься. Меня не проведёшь! Именно так пахнут редакции: они отдают трупом. Это только снаружи – статус, бумага, глянец, словишки и сарказм. А внутри – гниль и разложение, упадок, закат цивилизации. Я убедился, что передо мной девятнадцатый кабинет: номер «19» криво висел на кривом же гвозде, – откашлялся, поправил галстук, которого не было, выдохнул в ладошку – всё хорошо – и, слегка повернув свой корпус влево, отворил дверь и категорично шагнул внутрь.

Сначала я испугался и вышел обратно, ещё раз посмотрел на табличку: всё так, девятнадцатый кабинет, да, гвоздь и две цифры, – и снова зашёл, как под конвоем, в помещение. Это была один в один моя редакция, в которой я уже давно печатался и которую знал как облупленную. Два человека внутри предсказуемо спали, безвольно обронив головы на стол. Я ещё раз откашлялся – ноль реакции. Я стал подходить к одному из них, когда сзади послышался знакомый уже голос:

– Вы, наверное, к нам?

Я обернулся, и колени мои подкосились. Это была она. Та самая. Я откашлялся.

– Эм... Как вы догадались. Да, я к вам. Я ищу...

– Главного редактора, – продолжила она за меня, улыбнувшись и поправив свои кудрявые волосы. – Я и есть главный редактор. Или редакторша, как вам угодно. Можно даже редакторесса, если хотите. А вы, должно быть, Павел?

– Так и есть, да, Павел.

– Ну так вы рановато, Павел. Мы же писали вам – в следующую среду. И звонили три раза, хотели напомнить, что в следующую, а не сегодня.

Я так и стоял посреди спящей редакции.

– А сегодня что? – неуверенно спросил я, хотя, конечно, уже догадывался сам. Можно было не отвечать и не спрашивать.

Она улыбнулась ещё шире:

– А сегодня – среда, только не следующая. Но мы можем пойти навстречу и оформить аванс.

– Вот оно как... – замялся я в растерянности, не зная, как быть дальше. – А это не вы случаем...

– Да, – перебила она, наперёд меня целиком предугадывая, – случаем я. Бедный Егор Кридович. Пил много, а умер рано. Оксюморон какой-то. Мне кажется, я вас там видела – это не вы выбежали посреди церемонии?

Я почувствовал, как кровь приливает к моим щекам, среднему пальцу и почему-то даже – как некстати! – к области паха.

– Мне дурно стало, мирра плохо на меня действует...

– Бывает. А вы его откуда...

Я не дал ей договорить, чтобы она не стала выведывать у меня подробности и не заставила меня врать и что-либо придумывать при первой же встрече, чтобы не поняла, что никакого Егора я не знаю, а на панихиде оказался совершенно случайно.

– Да так, было дело... – замялся я, на ходу соображая. – Мужик один в шляпе...

– Мужик в шляпе? – переспросила она с недоверием.

– Да-да, общий знакомый, у него такое имя, низкопробное, как Вася, лучше вслух не произносить, чтобы не потревожить сладкий сон ваших сотрудников. Кстати, никому сахар не нужен?

Она залиvisto рассмеялась, кажется, в отличие от меня, совсем не заботясь о сне своих подчинённых. С каждой минутой, вспоминая, как целовал её у церкви, я становился всё уверенней.

– А вы знаете, – сказал я, наконец сдвинувшись с места и медленно подходя ближе, – мне кажется, я вас тоже уже где-то видел.

– Ну конечно, – подсказала она: – на панихиде.

– Нет-нет, я не об этом. Где-то, может, ещё? Вне, так сказать, похоронных процессий, или, если быть точным, вне зданий? Под дождём?.. – я всё пытался намекать, заходя издали и подбегая ближе и ближе.

– Это вряд ли, – сказала она, начав зачем-то перекладывать на столе бумажки.

Я её, должно быть, смутил. Она что-то от меня скрывала или просто боялась вспомнить наш интимный мокрый эпизод. Я почувствовал чрезмерное давление в паху, и немедленно прикрылся. Эта девушка действовала на меня, скажем так, не совсем обычно. Она снова посмотрела на меня:

– Итак, гонорар, верно?

Я кивнул.

– Да, – сказал я двусмысленно, – гонорар. Но гонорар может подождать до следующей среды, вы же понимаете.

Она волновалась, а я всё нагнетал и думал об анёле, приближаясь к разгадке этого слова: чем-то оно мне напоминало ангелов, – и о своей писательской карьере тоже почему-то думал. «Может, мне выгодно с ней переспать?» – закралась ко мне шальная дума. У редакторессы есть все необходимые контакты, меня начнут раскупать, если я всё по уму налажу.

– Нет-нет, зачем вы так? Аванс мы вам всё же выдадим, раз уж приехали. Не отпускать же вас с пустыми руками. Может, – предложила она, неожиданно перескакивая на другую тему, – выйдем покурить? Я хочу вам с глазу на глаз рассказать, в каком мы восторге от вашей рукописи.

Я не стал ей перечить, я всё понял сразу. Только голоса крутились у меня роем в голове. «Сигареты? – говорил кто-то. – Как не идут ей сигареты!» Кто-то ещё ему вторил: «Такое хрупкое создание, а в свой рот суёт табак и что попало». Я слышал: «Павлик, побудь скотиной хоть раз в жизни, вкинь её в свою постель из соображений выгоды!» и прочее в том же духе. Мы вышли из кабинета, и я смотрел, как её светло-голубое платье сказочно скользит по телу, из стороны в сторону, сверху вниз, представляя, что там, под ним, какая жаркая плоть скрывается под этой тканью. Может, и вкину, рассудил я, в очередной раз отмахиваясь от облака дыма, бездвижно повисшего у местного сортира, куда общий марш-бросок работников продолжался.

Мы спустились. Охранник проводил меня неодобрительным взглядом. Я почему-то сказал ему «до свидания» и немного даже в жесте благодарности поклонился, чего от себя

никак не ожидал, я не раболепной натуры, хотя мы ещё собирались вернуться – собственно, за авансом. Только когда мы вышли на улицу, под козырёк, который здесь уже был нормальных вразумительных размеров, мы поняли, что оба не курим и смущённо замолчали. Мы смотрели по сторонам, словно не замечая друг друга, а я про себя радовался, что мадам всё-таки не курит. Ей бы так это не подошло... Она не выдержала первой:

– Ваше произведение... – начала она, но договорить не успела, потому что я уже держал её в своих объятиях, волоча под дождь, скользя ногами по ступенькам, а руками – по шёлковой материи платья, спускаясь всё ниже, она же неуклюже постанывала и как бы даже отталкивала, и я гадал, притворялась ли она, что не помнит первого, священного нашего поцелуя, или у неё действительно отшибло память.

Мы кружились под дождём, она извивалась, и я целовал её, как прежде, впиваясь в её нежный горячий рот, словно в чебурек, как будто и не разлучались мы вовсе. А потом, промокая, я просто и незатейливо предложил ей поехать ко мне, на ушко, шёпотом, как те мрачные люди, и она не думая согласилась, будто бы и вовсе не придавала значения моим грязным ботинкам.

Обувь эта многое повидала. Что-что, а вот ботинки свои я никогда не променяю. Кожа, говорят, ягнёнка. Разве что на сердце этой красавицы. Откуда она взялась такая? Кто её мне подсунул? Пока мы ехали обратно, на такси (мне уже было не до экономии), я всё украдкой разглядывал её, как хрупкий мираж, и боялся, что она снова исчезнет. Я специально сказал водителю: «Видите, со мной дама?» «Вижу», – ответил он. «Смотри мне», – пробурчал я себе под нос и снова стал водить по ней взглядом. Какая же она неземная! Это за все мои страдания подарок. За всё, через что мне пришлось пройти, за всю ту химию, что прогнали по моим венам. Вот оно – воздаяние, вот она – справедливость!

А она меня всё что-то спрашивала, хвалила роман, но я уже ничего не слышал, потому что был растворён в любви и в ароматах её французского парфюма. «Шанель номер пять» – я хорошо знал этот терпкий жасмин и прованскую розу. Ужасная безвкусица для молодой девушки, я знаю, и запах этот я ненавидел – ровно до того мгновения, пока он не слетел с её кожи и не ударил по моему мирозданию, да так крепко, что оно, мироздание это, состоящее из букв, стремления к любви и ещё раз букв, пошатнулось и чуть было не разбилось вдребезги, и всё-таки не разбилось, потому что я ещё копил свою кундалини, копил до тех пор, пока мы, мокрые от возбуждения и непредсказуемой погоды, не ввалились ко мне домой, и здесь уже я не мог сдержаться. Я схватил её за руку и повёл на кухню. Я приготовил ей яйца пашот, и она зачарованно смотрела, как я аккуратно и ловко разбивал фермерскую скорлупу со своеобразным отливом и специальным кручёным движением вливал содержимое в кипящую подсоленную воду.

Потом я провёл ей небольшую и быструю экскурсию по дому, быструю потому, что, откровенно говоря, ни мне, ни ей было не до экскурсии. Мы оба хотели её избежать. Но я человек высоких моральных принципов, соблюдаю приличия и не могу так сразу, поэтому предварительно показал ей балкон, рассказал, что здесь раньше закатывали пьянки, но уже как два года ни одна нетрезвая нога сюда не ступала (редакторесса одобительно кивала), рассказал, что в спальне моей она вечером увидит светопредставление, если фортуна улыбнётся, а пока что для этого рано, поэтому давайте (иногда я случайно переходил на вы) пройдем лучше в зал, там у меня японское пианино и пара невзрачных цветков. И я открыл пианино и сыграл ей несколько песен, от волнения промахиваясь мимо клавиш и нещадно фальшивя. Как странно обернулся этот день! Не знал, что делать, а теперь столько навалилось, что не знаю, за что браться.

Песня, несмотря на фальшь, подействовала. Главред присела в моё кресло, отметив его крайнее удобство, и попросила сыграть что-нибудь ещё. Но я сказал, что сейчас не время, кроме того, больше песен я не знал, и попробовал прочесть ей какой-нибудь стих,

но кроме «мартобря» в голову ничего не приходило, поэтому я просто подошёл к ней вплотную и спросил:

— Как же вас зовут, о, прекрасная?

А она сказала, просто так:

— Кассиопея, — и добавила, для уверенности: — Меня зовут Кассиопея.

Кассиопея? О боги... Я взял её на руки и бросил на овечью шкуру, как пакетик самого сладкого сахара, а что было потом, уже никто не помнит...

Может, Кассиопея помнит. Но мне она ничего не говорит. А я ей всё хочу объяснить, почему не помню ничего сам, по уважительной причине не помню, однако Кассиопеи уже нет и, кроме прочего, у меня не хватает духу сказать ей правду, признаться в беспамятстве, поэтому я успокаиваю себя: «Согласись, после химии ты немного отупел и подзабылся. В этом всё дело». Да, память не сравнить уже с той, что была. Я мог поестъ щи, как Лимонов в своей нью-йоркской гостинице, а через пять минут уже стоять у плиты и варить новую порцию, забыв, что только что ел. Я мог куда-то идти, а потом остановиться и думать: куда же я шёл? — и, так ничего и не придумав, развернуться и направиться обратно. И вот когда я уже подходил к самому началу своего пути, тут вдруг вспоминалось, куда я шёл до этого, я разворачивался и т.д... Как будто этого было мало, так я ещё обижался на людей, что они со мной не здороваются, и никто не понимал, в чём дело, ведь он (она) только что со мной поздоровался(ась).

Именно поэтому писать длинные тексты представлялось мне сложным и утомительным. Через пару глав приходилось возвращаться к первой странице, всё перечитывать, пытаться сложить осколки воспоминаний во что-то единое, осмысленное, целое и так, таким рваным темпом, медленно продвигаться дальше. Это сильно выматывало, на каждой главе я терял по килограмму. В хороший день я мог выдавить из себя только какую жалкую тысячу слов, потому что большая часть концентрации и усилий уходила именно на воспоминание того, что было написано раньше, на яростные напряжения памяти, мозговые конвульсии. Поэтому это было как нельзя более кстати, что я открыл для себя такую элегантную в своей простоте форму: шестидневный роман, как на курорте. Многие мои отношения с прекрасным полом столько, между прочим, и длились: шесть дней. В понедельник я был по уши влюблён и втрескан, во вторник на колени вставать уже не хотелось, но цветы с конфетами я всё ещё дарил, в среду крадывались какие-то сомнения, я с подозрением смотрел на свою понедельничную пассию, четверг проходил в мучительных раздумьях, потому что я уже точно знал, что это не тот человек, с которым я готов разделить остаток жизни, в пятницу я себя от рассвета до заката винил в своей любви и клял в неосторожности, после захода солнца в тот день я свою любовь уже ненавидел всеми флюидами ненависти, не решаясь на откровенный шаг, ну а в субботу, всё-таки решившись, после минета выставлял её за порог со словами: «Мне надо подумать». Над чем, я не уточнял.

С текстами было чуточку проще. За непродолжительное время я не успевал всё забыть и выдохнуться, и поэтому гнался за мыслью, как петух из детства гнался за своим задом, и всё у меня получалось, и не было никаких осколков, никакой злобы и растерянности, потому что была только цельная картина, может, с незначительными где-то пробелами и упущениями, но это уже было дело небольшой редакции. Это пускай выверяют в редакции.

А вообще, лучше попрошу Кассиопею, чтобы правок вносили как можно меньше. А то я очень не люблю чужие правки. Мне от них сводит желудок, и тогда в памяти всплывают капельницы и ужасное ощущение в животе, а потом и боль в венах, и побелевшие пальцы. Да, лучше пусть правок не вносят совсем, если им дорого их здоровье и они не хотят преждевременно терять зубы. Пусть исправят грамматику, где надо, расставят запятые, многоточия, но больше чтобы ничего не трогали. Или она хочет, чтобы мне свело желудок? Не хочет, конечно, не хочет. Хотя про моё лечение она так до сих пор и не знает. Это я тоже не решался ей поведать.

Она думает, это я про алкашку. Якобы от правок меня тошнит, как на утро, бывало, от водки с пивом, когда я ещё был не против пропустить по стаканчику. Я не возражал, только молча кивал. Пусть думает, как думает. Зачем развеивать иллюзии? Человек не может жить без иллюзий. Они – твёрдая почва его существования. Если пошатнуть хоть одну, пошатнётся весь его мир, как сегодня пошатнулся мой, и человек может не выдержать и запить или удавиться. Или начнёт ко всем приставать, или окунётся в депрессию, и его посадят в психушку, по примеру одной из моих ненаглядных.

Бехтерева, тридцать четыре. Тогда моя память сбоя не давала, поэтому адрес я помню прекрасно. Я туда приезжал раз в неделю как бы навестить, но на самом деле за скоропостижным сексом. Теперь как подумаю... Секс в психушке. Не у многих, должно быть, такое бывало. Впрочем, хвастаться тут нечем. Мне стыдно и... «Я тебе никогда этого не прощу! Как ты мог! В таком печальном, светлом месте!» – стучалось в моей груди. Я вновь слушал совесть, и мне становилось муторно, да и я бы не назвал психдом светлым местом, всё очень просто: туда кладут придурков, которых я так люблю, – а потом я вспомнил, что было как-то раз и на футбольном поле, и, более того, в церкви, и тут я окончательно зашёлся краской, но постарался так, чтобы Кассиопея, если она тут, не догадалась из-за чего. Она не всеильна и не всезнающа. Я притворился, что вспомнил церковь, на пороге которой мы впервые с ней встретились.

Разница заключалась лишь в том, что в последней была куча народу и панихида и мы не совокуплялись, а в той, в первой, людей, кроме нас, не было совсем, только заканчивалось её строительство, нам намоленное это место снесло головы, и мы... О чём мы только думали? Подлейшее из приключений. Это был самый разгар лета, и там ещё лежал кусок льда у входа, на самом пекле. Откуда он там взялся, этот кусок, я не знаю и по сегодняшний день. Мекка извращенцев, стая безбашенных эксгибиционистов. Я что-то выкрикнул в обвисший целлюлитным дрожанием воздух, чтобы перебить эти разрозненные голоса... На какое-то время они затихли. Затихла даже совесть. Нет, она не затихла, она притаилась, я знаю. Она вечно так: хитро молчит, а в самый неподходящий момент – удар под дых – как выпалит что-нибудь, хоть ты на стену лезь.

28

Я посмотрел перед собой. Тепло ещё исходило от овечьей шкуры, тепло женского расплавленного тела, этой расплавленной вечности опороченного целомудрия. Меня захлестнула нега. Всё-таки хорош я был, хорош, ничего не скажешь. Главное – не сдался! Не сдался после первого поцелуя и отвержения, а наоборот – раззадорил своё желание и разжёл свою страсть. Хорошо, очень хорошо, что я пошёл в редакцию. Мог ведь не пойти. Лил дождь, гонорар можно было забрать как-нибудь в другой раз, в конце концов Гонолес не так уж далеко от моего дома оказался. Всегда можно сесть на тридцать третий, в пустой салон автобуса с неразговорчивым водилой, и за полчаса доехать до пункта назначения. Ничего сложного. Но я всё-таки пошёл. Промок до мозга костей, но пошёл.

И правильно сделал, что пошёл. Потому что если бы не пошёл, то не узнал бы никогда про Кассиопею и никогда бы она не лежала здесь передо мной, нагая. Нет, узнал бы как-нибудь попозже, когда всё-таки решил бы заехать за денежкой, но тем не менее... Впрочем, и сейчас она передо мной не лежала, а было только её тепло, и я вспоминал, но не мог ничего вспомнить. Память ни к чёрту. Нельзя на неё положиться. А на Кассиопею положиться – можно и, согласно фамильной моей традиции, даже нужно. Я захихикал от своей хохмы и перевернулся на спину, и принялся.

О-о-о, «Шанель номер пять», запах непристойной женщины... Я всегда считал, что с этим пошлым ароматом сочетаются только старухи и дамы в почтительном возрасте с ожерельем на дряблой шее. Они обязательно должны носить натуральную шаль из мохера и жить в самом центре Парижа, недалеко от полей. У них должна быть боязливая прислуга, пугливая собачка и молодой ухажёр. По выходным они посещают могилу Бальзака на Пер-Лашез, по пути перехватывая в кофейне круассан и латте. Им должно

быть плевать и на Бальзака, и на ухажёра, потому что раньше они все, как одна, были замужем за каким-то богатым хрычом, который скопытился от диабета или невыносимой лёгкости бытия и оставил им, как они и рассчитывали, огромное наследство. Но прихоть есть прихоть, и они держат при себе молодняк, чтобы не чувствовать себя едкими, угнетающими и высокомерными развалюхами на обочине существования, чтобы чувствовать хотя бы краешек жизни, которая от них давно ускользнула, сев за горизонт, чтобы больше из-за него не подниматься. Они подозревают, что умерли ещё раньше того хрыча с наследством, а именно тогда, когда решили, что нет такого слова «мораль», что нет такого слова «принципы», и за смутную перспективу когда-нибудь разбогатеть отдали все самые сокровенные части своего тела.

Такие женщины и должны были пользоваться «Шанель номер пять», рассказывая этим ароматом печальную историю своей посредственной жизни. Мне их было жалко, хоть лично я ни с одной не был знаком, но такова уж природа, что они обязательно где-нибудь были, и я не хотел бы никогда ни с одной из них встретиться. Пожалуй, я их подсознательно избегал, и не исключено, что ими кишел наш город, просто собой они образовали для меня слепое пятно. Замечал я, по обыкновению, более молодых и эксцентричных, которые понятия не имели, что такое «Шанель»: кусок ли это дорогой ткани или хозяйственного мыла, резная ли окантовка гроба или, быть может, очередной изысканный псевдоним работницы коммерческого секса, жертвы общественного темперамента. У нас тоже хватало подобных «светских львиц». Одну такую я встретил на одном из забегов.

Мы бежали с ней рядом и разговорились. Фигурка, юмор, мозги – всё было при ней. Я уже обнадёжился, взял у неё номер и договорился как-нибудь встретиться. А потом на всякий случай решил полистать её инстаграм, провести до встречи смотрины. «Твою ж налево!» – протянул я от физического удовлетворения и одновременно морального неудовольствия, рассматривая её полуголые фотографии на яхтах, её припудренную песком задницу у Бурдж-Халифа, грудную тройку под тенью малазийских пальм, с коктейлями в руках, на пышных простынях великолепных гостиниц, на балах с хрустальными люстрами... И хоть она не пользовалась, вероятно, ни духами номером пять, ни три, ни даже девятнадцать, я немедленно удалил её из своей телефонной книги. Потому что знал такое слово – «принципы».

Мой главный принцип был – жить так, чтобы этой сволочи с гнусавым хриплым пропитым голоском в моей голове или в сердце, где она там, не было что мне лишний раз вякнуть. И тем не менее она всегда находила, к чему прикопаться и, следственно, что вякнуть. Я к этому относился по-философски, с пониманием. Ей тоже нужно чем-то заниматься, ей тоже надо выговориться и быть услышанной, правильно? Если бы я был не собой, а совестью в своём теле – да я бы рвал на себе волосы от ужаса! Денно и ночью за собой подло следить и высматривать сомнительные решения и неблагоприятные поступки – как монотонно и некрасиво. Ужас. Ужас!

Ну нет, в то время, когда я вёл разгульный образ жизни, она вещала круглые сутки, не затыкаясь, там у неё всё было в порядке с поводами, она ни на что не жаловалась. Всегда был материал для размышлений и угнетения моей персоны. Тогда я и принципов в общем-то как таковых не придерживался, они мне были неведомы. Будь я тогда девушкой, точно бы пользовался «Шанель номер пять», вне всяких сомнений. Были бы и яхты, и ОАЭ, и отели с завтраком в постель.

Но всё же аромат этот был больше присущ дамам в годах. Так я думал. Таково было моё стойкое мнение. А редакторша очень умело развеяла это моё глупое предубеждение. И, по сути, она даже ничего для этого не сделала – просто отдала себя в объятия под июльским дождём. Дважды. Этого было достаточно, чтобы я раз и навсегда уяснил: нет ничего более подходящего для горячей молодой красотки, чем это зашкварное французское амбре. Решительно ничего. Теперь я пойду в магазин и выберу себе, пожалуй, тоже что-нибудь из «Шанель», мужского.

Я глубоко вдыхал и не мог насытиться этим запахом. Он шёл от того места, где мы с ней опустились на пол и забылись безудержной взрослой сказкой. Я вспоминал, мне хотелось вспомнить все подробности: как это было? что я делал и чего не делала она? стояла ли она на коленях, просила ли пощады? умоляла ли задушить? стегал ли я её галстуком, бранил ли или был нежен и заботлив, аккуратен и осторожен? был я чудовищем или принцем? была ли она принцессой или низкопробной шлюхой?

Нет, она была принцессой... Даже если могла она на миг превратиться в шалаву, она бы всё равно оставалась принцессой – такой прекрасной она была, есть и будет. Я ничего не помнил, и это был хороший знак. Значит, мгновения эти были настолько незабываемы, настолько великолепны, что память решила не давать мне к ним доступ, под грифом секретно, строго конфиденциально, ибо моё нынешнее существование показалось бы мне настолько горьким и зазорным, пустым, что я бы не знал, куда деваться. А вместо этого я только пуще расплывался в улыбке, ничего не помня.

Её нигде не было, и я не слышал, чтобы она была в других комнатах тоже. Боже, надеюсь, если она посещала уборную, то не брала почитать томик Бродского и не видела под ним этих уродливых насекомых. Нет, если бы увидела, то, как представитель рода бабского, уж точно бы завизжала, и я бы открыл глаза и подбежал к ней и спас! И тогда снова взял бы её на руки и бросил бы на эту шкуру, и всё бы повторилось.

В проблесках тишины интуиция подсказывала, что Кассиопея ушла. Это тоже хороший знак. Потому что если бы не ушла, так значило бы, что не насытилась, а это в свою очередь говорило бы о том, что я не был на высоте и не выжал из неё все соки. А так вот ушла, получается. Взяла своё, собралась, впрыгнула в свой голубой шёлк и на цыпочках босоножек ушлёпала, стараясь не разбудить принца или чудовище, в зависимости от того, как я себя с ней повёл. Это был первый день, я её без ума любил. Это был мой понедельник. А ещё, может, ей было неловко, что сама была не на высоте – вот и ушла. Дурочка, дурочка. Знала бы она, что в самых глубинах адского подземелья, где даже черти жалуются на невыносимые условия, переработку, сверхурочные, скудный паёк, жару и свою тяжкую участь, она со всей своей красотой просто не может не быть на высоте. Ей ничего для этого не нужно, никаких не надо прилагать усилий. Ну, может, улыбнуться разок, и позволить каплям с ключиц бежать к персям.

А ещё, судя по всему, она сознательная девушка. Потому что несознательные всегда остаются до самого упора, пока не вышвыриваешь их, как утренний мусор. Им хочется каких-то объятий, объяснений, ласки, завтрака. А нам, мужикам, ничего этого после всего уже не хочется. Нам нужны грубость и одиночество, хамство и тоска. Нас надо оставить в покое, до тех пор, пока голод снова не одолеет нас.

29

Странно, неужели после всех этих дней мне таки удалось заснуть? Писательский марафон, плотно сдобренный литрами крепкого чая, не очень благотворно сказался на моём режиме и сне в частности. Но лучше так, чем мучиться полтора года, успокаивал я себя. Когда быстро пишешь, не успеваешь соврать. Вот. И не успеваешь разлюбить написанное.

Я всегда развивался быстрее, чем писал. А уж писал я достаточно быстро, поверьте. Мне это напоминало историю про Элджернона. Мышонок, который был беспросветно туп, как и все мыши этого света, но который стал очень быстро уметь. А параллельно с ним один человек-тупица тоже превращался в гения. И что поджидало обоих в конце пути? Правильно. То же, чем довольствовался теперь и я, – яркое пустынное одиночество.

В моём случае, конечно, это была скорее вынужденная мера, но, признаться, в одиноких условиях мне было достаточно комфортно, и я даже радовался, что не нужно выходить из дома. По крайней мере, первые три месяца. Потом начались срывы, перепады настроения, пропадал аппетит, хотелось кого-нибудь покалечить – тогда я и начал

потихоньку выбираться на улицу, решив, что это поможет. Я долго гулял, заходя в соседние деревни за кольцевой, рассматривал клубы дыма из труб теплоэлектростанции, наматывал круги вокруг местного озера, кормил уток, разговаривал с деревьями и травой. Делал всё возможное, чтобы удержать себя в рамках кажущейся вменяемости. Получалось у меня плохо, но я не сдавался.

Никто не разделял моего призыва к затворничеству. Все кругом делали вид, как будто в мире ничего не происходит. Ели колбасу, обсуждали курс рубля, смотрели телесериалы. Тем временем окружающие нас страны предусмотрительно закрыли границы, чтобы препятствовать распространению вируса, а то есть любители попутешествовать и пощекотать нервы себе и окружающим, и только мы, наша независимая республика громко всё отрицала: коронавируса не существует, это, цитирую, «психоз»! Среди моих знакомых люди между тем валились с ног штабелями, будто на войне, и я видел, как они по две недели не могли встать с постели и как некоторых уже были готовы вот-вот подключать к искусственной вентиляции лёгких, что в девяноста процентах случаев значило лишь одно – скорую неприятную кончину, когда захлёбываешься в собственных жидкостях и мрёшь от удушья. Я слишком хорошо это знал, чтобы рисковать или верить госпропаганде.

А ещё от нечего делать я читал гороскопы, вы уже это знаете. И в них почти каждую неделю Стрельцов настойчиво предупреждали, чтобы те без необходимости не рисковали. Необходимость – это когда на кону большая сумма, чья-то жизнь или возможность переспать с какой-нибудь невероятной красавицей. Ну вот – я и не рисковал, хотя бы до того как встретил Кассиопею. Кроме этого, я никому из своих друзей не рассказывал, что когда-то у меня был рак, а в случае с коронавирусом это фактор риска. Меня не понимали, зато я понимал и дополнительный риск на свою жопу, интеллигентную, начитанную жопу не брал.

Я, может, на свою жопу только искал признания, и больше ничего. Было бы хорошо, да, было бы очень здорово. Писали бы хвалебные статьи, приглашали на интервью и званые ужины, спрашивали, как это я умудрился за такой короткий срок отпечатать шедевр, а я бы кокетничал и говорил, что всё это, мол, не я, я лишь ретранслятор божественного: записывал всё, что Господь неумолимо надиктовывал мне в ту неделю. Такая история без морали и вывода, говорил бы я и с благодарностью принимал бы любые лавры. Но чем больше я об этом думал, тем меньше мне этого хотелось.

И что? Месяц-другой считаешь о себе в дешёвых СМИ, наберёшь себе рейтинг и какой-то оттуда отрицательной кармы, потому что если твоё имя засветилось на этих страшных, успокоительных страницах, то и ты становишься сопричастен всему этому массовому помешательству и душевному грабежу и берёшь часть греха на себя – а тебе это надо? И вообще – ты любишь одиночество и рестораны. Помнишь? Ты любишь приходить туда, когда совсем нет людей, в таком случае ты ищешь внимания, или же заявляться, когда там полно народу, тогда чужое внимание тебе противно, ты осознанно отказываешься от него, прячась в самый дальний угол, но в любом из двух случаев ты в конце концов со спокойной душой погружаешься в самосозерцание и поглощение пищи – только так можно получить удовольствие. А что будет, если тебе под нос начнут совать всякие бумажки и просить нацарапать на них своё нехитрое имя?

Будешь ты хорошим человеком или плохим? Плохим, отвечал я себе, не раздумывая. Я буду плохим человеком, это можно сказать с уверенностью. Уже после третьей бумажки я встану и закричу на кого-нибудь так, чтобы все со страху обделались, и выбежали вон, и оставили меня в покое. А потом разорву бумажку с, сяду и буду есть дальше.

Оттого-то лучше наслаждаться тем временем, пока не опубликовали в журнале первую, самую сочную часть. Она выйдет на следующей неделе, ещё смогу понаслаждаться. Да... Так и поступлю. Буду ждать, пока проснётся глас похоти, желание

тела, буду ехать в Гонолес на гонорарные деньги, забирать её, привозить к себе среди недели на такси с глухим таксистом, зажигать восковые свечи, вдыхать её запах и шептать что-нибудь приятное на ухо, чтобы она ко мне льнула и сама стягивала с себя платье и влажное исподнее.

А так хорошо, что она уехала. Значит – сознательная. Это только придавало ей больше значимости в моих глазах, добавляло баллов по шкале Рихтера, и я ещё больше невольно улыбался. Вот же как повезло! Какой ты везунчик! Судьба благосклонна к тебе, это следует признать и как-то это оформить. Нужно её благодарить. Я, кажется, преклонил колени, как тогда, в прихожей, параллельно всё ещё вспоминая, была ли на коленях Кассиопея, и вслух взмолился: «Спасибо тебе, кто бы ты ни был, за твою милость и доброту! Я буду помнить эти минуты добра и гуманности всегда и не позволю памяти их забыть – никогда, никогда, ни за что! Спасибо тебе, что смотришь за мной и улыбаешься мне, как призрак! Твоя улыбка стоит тысячи любых самых прекрасных улыбок этого круглого клочка чернозёма в бесконечном пространстве! Спасибо, что подарил мне вчерашнее тело и избавил меня от иллюзий! Спасибо!» Я поднял вверх сжатый кулак и про себя добавил: «Но её улыбка всё-таки лучше...»

Я лёг обратно. Я чувствовал, как слёзы благодарности катятся по моим щекам, и не мог остановиться, и не хотел останавливаться, а только рыдал и смеялся. Это было неопишимо! Как прекрасно, что она ушла и не стала давить меня сейчас своей близостью! Грубость и одиночество! Хамство и тоска! Она тонко понимала мужчин. Откуда же только она так хорошо их понимала?

Я утёр слёзы и задумался. Было ли у неё до меня много поклонников? Нет – любовников, много ли было? А может, у неё и сейчас их есть? Может, я один из них, один из многих? Это ревность, уверил я себя, не бери в голову. Она удушающая и бесплодна; но нельзя не ревновать лучшее, что есть в этом мире – таков закон. Лучшее всегда идёт рука об руку с самыми низкими чувствами, и с этим надо смириться, если хочешь лучшим обладать. Вдобавок, лучшего, если оно действительно такое, всегда столько, что им не должно быть жалко делиться, потому что колодец этот бездонный и из него черпать можно без конца. Так почему же ты страдаешь? Почему не захочешь разделить её с ближним?

Я бормотал себе под нос, что хочу, хочу, вы меня не так поняли, конечно, хочу её разделить, с кем угодно, только пусть она остаётся моей и ничьей больше. Пусть спит только со мной и только вот на этой овчине, пусть будет моей навсегда и никогда не отходит от меня дальше, чем на метр, – и тогда буду я готов разделить её и с ближним, и с дальним, и с кем ещё захотите разделить.

Я посмотрел на то место, где всё так внезапно произошло: Кассиопеи не было, был только её женевско-блядский дух да я, полуголый, довольный, улыбающийся, валялся в белом меху и рассматривал потолок, оклеенный обоями, не в силах найти ни одного жучка в бетоне. Эта идеальная поверхность у меня над головой. Вместо неба меня скрывало от пытливых глаз сверху идеальное полотно белой бумаги – о, почему надо мной не небо? Тогда я присмотрелся и увидел, что вовсе не лежу на шкуре, как думал, а сижу в своём кресле и уже оттуда смотрю на шкуру, где нет ни её, ни меня, ни чьего-либо духа. Я хмыкнул.

Так вот, значит, как ты теперь перемещаешься в пространстве! Ни во что не ставишь даже элементарные законы физики? Как тебе не стыдно, душегуб? Я ещё раз хмыкнул: уже давно известны миру квантовые законы, а там всё иначе. Если я писатель и сердцеед, почему это я должен подчиняться обыкновенной, не-квантовой физике? Я мыслю нелинейно, пишу нелинейно, не чужаюсь похабщины, нахожу в ней даже отраду, питаюсь зеленью, а значит, и законы мне полагаются нелинейные. То есть если на меня смотрят, я действую одним образом, если же наблюдатель отсутствует, то я из волны превращаюсь в частицу и уже веду себя по-другому. Я непредсказуем, как квант любви.

Нет, подумал я. Всё же не люблю я законы, презираю я их. Даже квантовые. Никакие не люблю и все до единого презираю. И не хочу чему-либо подчиняться, зыблемому или незыблемому. Хочу быть свободным. Дерьмо! Да ведь я свободен уже так, что остальным такой размах только снится. Я подумал: жалко, никого сейчас нет дома. А то так бы были завистники, эти едкие маленькие людишки, своим унижением великих лишь возвышающие, и много бы их было. Но это тоже форма гордыни, разве не так? Ты ищешь почитания и известности, в этом всё дело.

Что ж, во мне есть зачатки нарциссизма, и не только литературного, это отрицать бесполезно. Но я бы посмотрел на вас, если бы ежедневно вы вынуждены были видеть в зеркале такое прекрасное отражение, идеал. В этом меня обвиняют многие, а я не вижу, зачем в чём-то обвинять человека, особенно такого калибра, как я. Ты ведь не можешь обвинять птицу, что она высоко летит? Это было бы глупо. Так чего же обвинять меня? Я такой, какой есть, и со временем кое-как меняюсь, может, не так, как хотелось бы другим. Это их личное дело: чего-то хотеть или не хотеть. Да и вообще, почему я их так трогаю? Чем я им насолил, чтобы меня обвинять?

30

Я и сам признаюсь, вот: я – нарцисс, причём самый злостный. Как вам такое? А они молчат. Нечего уже добавить. Они сложили крылья и присели на пенёк. Предупредительный выпад – и соперник в растерянности, стоит, как обезьяна, с палкой и смотрит на пальму. Если чувствуете, что назревает драка, решительно вмажьте кулаком себе по зубам – тогда драки не будет. Тогда будет стоматология и Василина Игоревна, и, возможно, дурдом на улице Бехтерева, но драки, повторяю, – не будет.

Отчего-то кажется мне, что только нарциссы писать книги и могут. Если автор не занимается самолюбованием через свои собственные слова и предложения – тогда чем же он занимается? Допустим, самолюбования в его действиях нет – тогда теряется весь смысл. Стучать по клавишам, чтобы потом кто-то положил его книжку в туалете и чтобы она стала пристанищем для сколопендр и чешуйниц, и бог знает чего ещё? В чём тогда смысл? Смысла тогда нет, потому что любая буква писателя – это акт непреодолимой силы нарциссизма. У нас тысячи комплексов, мы очень ранимы и скромны, податливы, сердобольны, а потому ищем избавления в таком вот словесном онанизме. И ничего предосудительного в этом нет.

Это даже, по моему мнению, должно поощряться государством. Потому что другие, для самоутверждения, вскидывают на плечо полуавтоматические винтовки, заселяются в люксовый номер 32135 на тридцать втором этаже гостиницы «Мандалай-Бэй», в которой я в своё время мирно квасил мартини и охмурил красоток, и самозабвенно начинают палить свинцом по толпе, собравшейся внизу немного потанцевать под кантри. Это самые невинные с виду люди, такие, которые никогда не потребуют правильной сдачи от обсчитавшей их продавщицы, которые на слово «мудак» произвольно оборачиваются на улице, которые долго, без усталости, смиренно стряхивают свои писюны в общественных сортирах. Из них, пожалуй, могли бы выйти неплохие писаки, но клавиатуре они предпочли спусковой крючок смертоносного оружия. Это предупреждение критикам – не критикуйте сильно наши работы. Знайте меру. Особенно – не критикуйте мою. И редакторы, тоже, пожалуйста, я вас прошу, знайте границы допустимого. Потому что и в вашем доме однажды может раздаться звонок, а из трубки вы услышите вкрадчивый голос обиженного вами творца: «Назовите адрес и время, когда вам удобней снизойти в преисподнюю...»

Всё это весело – но до каких пор? До тех, пока, на удивление даже квантовым законам, я вот так вот мигрирую между шкурой и своим креслом, не поддаваясь обычному мироустройству. До тех пор это весело, да. И забавно. Куда бы мне сейчас полететь? Где бы оказаться? В квартире критика? Это лишнее. Нет ещё такого критика, который бы смог меня обидеть, несмотря на то, что я сказал выше. Обида – это моё,

личное, и никому я её не отдам. Я её берегу. Она нужна писателю. Без неё трудно пишется. И трудно пишется, и долго. Но лучше всё-таки не критиковать, во избежание ненужной драки и ненужных травм.

Лучше окажусь в редакции! И посмотрю на Кассиопею и скажу: «Куда же ты, кудесница, подевалась? Я ведь и завтрак хотел приготовить...» А она ответит: «Какой завтрак, если уже послеобеденное время?» Шутница, ах, шутница! Я несусь по кучевым облакам, перелетаю поля, леса, гастрономы, открывшиеся непонятно во сколько, парки коммунистических лидеров, перепрыгиваю мокрые шоссе и неуклюжих рабочих и влетаю свежим воздухом в маленькую, влажную щель приоткрытого окна. Никого нет, даже тех двух, что спали, когда я приходил, а в углу, где сидела она, тоже никого нет, и я ветром выношусь под дверь в коридор, в уют тепла и запаха недокуренного бухгалтером беломора, и лечу в сторону уборной, потому что они, наверное, пошли испражняться или курить, но там тоже никого нет, только плохой запах и вонь аммиака, и я, нечаянно подхватив с собою оба, с четвёртого этажа слетаю вниз, пролетаю мимо хмурого охранника, на ходу бросая ему снова: «До свидания!», и оказываюсь у входа, где должна быть она. Я не ошибаюсь: она действительно стоит на пороге и разговаривает со мной. Вот я делаю неаккуратный шаг назад, пячусь, входя под дождь, протягиваю ей руку, и она падает в мои объятия.

Я пару раз моргаю. Какие приятные фантазии. Я могу так целый день представлять, как перемещаюсь туда-сюда между Минском и Гонолесом. А ещё говорили – выдуманное место! Позорники. Знали бы они, какие люди живут в том выдуманном месте – не задумываясь перенесли бы столицу в Гонолес. Потому что в столице нам нужны красивые люди.

Зря, что ли, Вашингтон оказался столицей штатов? Наверное, зря, потому что там я не бывал и не видел, какие там ходят люди, а поэтому, наверное, люди там не очень. Столицей должен быть Нью-Йорк. Там люди тоже, по правде сказать, средненькие, но я хотя бы там был...

31

В самом деле, который час? Может, она и права была, что далеко за полдень? Тогда и впрямь завтрак ни к чему. Я повернул голову налево. В пространстве между раскинутыми на метры стеблями монстры, подвязанными и не очень, и колючками опунции виднелись светло-серые облака. Они куда-то плыли, никого не спрашивая, можно, нужно ли им плыть куда-то. Дождя не было. Изредка проглядывало солнце, но больше оно ко мне в окно не попадало. Значит, какое-то время всё-таки прошло. Час, два? Четыре? Обед, наверное, я пропустил, потому что сначала поездка в Гонолес, потом все эти миражи и видения, потом ещё назад и т.п., плюс как долго мы проваливались на этой бывшей овечке – тоже загадка. По всем признакам действительно было далеко за обед, если не сказать – вечерело.

Лето ж ведь, помнишь? Время летит – не тянется. Но ты погоди, погоди, чего тебе – зима не за горами. Вот тогда запоёшь подснежником под жёлтыми сугробами. Запоёшь тогда и снова возжелаешь лета. Ну это если будет зима, конечно, говорил я, себя в чём-то убеждая, сейчас всё нестабильно, трудно прогнозируемо... Вот в восемьдесят седьмом – совсем другое дело было. Помню, родился, а на дворе не просто четверг, шестнадцатое, – там пурга, метель в двери рвётся, петли выбивает, роддомовское окно третьего этажа, где я появился под счастливым знаком неудовлетворённого кузнеца искусства и вифлеемовской звезды вместо люстры, занесло по самый подоконник, отец к нам с улицы сквозь снег докричаться не может, но я его голос слышу, как-то узнаю и ору что-то в ответ, что-то доброе, обнадеживающее. Вот когда зимы были снежные и тянулись. Нынче всё не так. Длиннее они лета, конечно, но короче настоящих зим.

Сейчас и снег если выпадет хоть миллиметровым слоем под ёлку – так и хорошо, и то радоваться надо. А так всё слякоть, да серость, да малодушие. Раньше своего дня

рождения ждал, а сейчас думаю, как бы подольше его не наступало. Или же я просто старею, становлюсь ворчливым, недовольным, несносным и труднодоступным... В этом причина?

Не может быть. Старикам, катящимся под гору, девах в рассвете сил соблазнять не по плечу. Им это не нужно, у них стрелки часов давно опали, как осенняя листва, на смену идёт новое поколение заряженных имбецилов, которые горят и не гаснут, и рвутся в бой, и кровушки им своей ни на что не жалко. У стариков другие приоритеты: камин разжечь, зубы почистить, геморрой подлечить... Какой там старик! Пойду сейчас, сбрую бороду – тогда посмотрим, кто из нас старый. У меня разрешение родителей на границе спрашивать станут, в самый ближайший зарубеж без него не пустят. А это неудобно, сидеть здесь и никуда не наведываться, поэтому ничего сбривать пока не буду, мало ли, может, границы скоро откроют. Но так, на всякий случай, засечку у себя в голове сделал.

Ещё вот почему я из Америки уехал: погода там ненормальная. Я двенадцать штатов объехал, во всех климатических зонах побывал, и выше уровня моря, и на его уровне, и ниже, я видел пустыни, мегаполисы, национальные парки, я ночевал в заброшенных кемпингах при минус сорока, я пил водку под гавайскими пальмами, я в Майами покупал редбулл с водкой за девятнадцать баксов, я стоял нагишом под могучими струями водопада – сколько всего я перевидал! Так вот, объехал я двенадцать эти безумных штатов, а в тринадцатый решил не ехать, потому что знал: впереди – однообразие, скучное однообразие американского быта, которое мне уже комом в горле. Устав от поисков, я осел в самом поганом климате, что только можно было найти: в Сан-Франциско, где зимы почему-то нет, где точно так же нет почему-то и лета, весну можно встретить только в течение пары недель в ноябре, всё же остальное время тебя охаживает осень, зябкая, ветреная, неугомонная осень, – и просто ждал повода оттуда убраться. Хорошим поводом стал диагноз – недолго думая, я уже летел в Минск.

К тому же там не было красавиц, и эту причину я бы даже поставил на первое место. А тех, которые были, уже разобрали чьи-то кавказские волосатые руки из пёстрого райончика Ричмонд, и мне к ним, то есть к этим разобраным, прикасаться, разумеется, не хотелось. «Знал бы ты, кто прикасался к твоей Кассиопее...»

– А ну не смей! – неожиданно для самого себя рывкнул я, стукнув кулаком по хрупкому чайному столику. Чашка загремела, за окном раздался гром, хоть и было уже ясно (интересно, тот алкаш на лавке проснулся?). Право, знак свыше, подумал я, знак, что на сей раз я прав, затыкая рот своей совестью.

Много она себе слишком позволяет, стерва.

– Не смей, – повторил я уже чуть тише, прислушиваясь к собственному голосу.

Я повторил эту фразу ещё три раза или раз пять, чтобы до конца понять свои интонации. Голос снова звучал глухо и напряжённо, как будто я по капле выдавливаю из себя раба, только выдавливаю не раба, а застрявшие в горле эмоции. Как редко я стал слышать свой голос. Хорошо это или плохо? Когда я мог его слышать? Я почти ни с кем не разговаривал, не общался. Иногда, разве что, готовя обед, я мог развеселиться и что-нибудь ляпнуть в воздух несерьёзное, но резко себя осаживал. Я боялся с собой разговаривать. В этом не было ничего страшного, поговорить с собой, рассказать себе какой-нибудь анекдот, просто очень легко таким образом можно самому себе показаться сумасшедшим и сбрендившим, а я, если таковым и являлся, себе таким казаться хотел в последнюю очередь.

Это сегодня отвёл душу и поговорил с собой – где? В автобусе, кажется. Или дома? Что-то бубнил себе под нос, а водитель всё время на меня с опаской или любопытством поглядывал в зеркало заднего вида. Что-то интересное, наверное, я говорил. В следующий раз, если заговорю, так надо будет говорить погромче – пусть слушает умные мысли умного писателя, пусть знает, что жизнь моя нелегка и в последнее время скучна. Его ведь тоже, видимо, скука грызёт. Ездит в одиночестве по пустынной заброшенной линии, да ещё в такие места, как Гонолес, и никто ему слова животворящего не скажет. В

следующий раз буду говорить громче, а если он совсем будет интересоваться, то даже заведу с ним какой-нибудь осмысленный диалог. Мне и самому не помешает с кем-нибудь потрепаться.

32

Впрочем, теперь у меня есть Кассиопея. Зачем мне кто-то ещё? Единственное, что я забыл, – это как-то установить вид отношений между нами. Кто мы друг другу? Одноразовое это знакомство, короткая повесть или затяжной роман? Дружья, не брезгающие постелью, или две взрослые особи, намеренные после встречи друг друга прекратить за ненадобностью поиски второй половинки?

В уме я брезгливо сплюнул себе под ноги – чертовщина какая! Я отвернулся от этих глупых вопросов как от наваждения. Мне все варианты противны. Я предпочитаю никак это не называть. Как получается – пусть так и будет. Зачем всему давать название? Занудство... Джаз, в особенности живой джаз, а не на пластинках, мне всегда нравился и нравится до сих пор – так вот, это только потому, что он никогда не повторяется, а течёт, как мощный поток из прорвавшейся дамбы, наперекосяк, в разные стороны, совершенно не зная правил игры, совершенно не признающий границы, главное – это движение, и тот, кто остановился – сначала чахнет, а потом умирает мучительной смертью спившегося дворника. Река становится болотом, а болото – пустырём. И хуже всего, что сам он этого не видит, тот, кто умирает. Сам-то он думает, что оседлал струю и что мир ему поклоняется, что пить можно бесконечно, то есть много, но долго.

Мне казалось, что я на овечьей шкуре, – а где я оказался? Вот оно – заблуждение века, так люди и попадают впросак.

Надо понять его механизмы, этого заблуждения, и хорошенько пораскинуть также мозгами: обо мне, о ней, о своём произведении. Можно никуда не спешить, время есть. Никто не подгоняет. Подождём пару дней – потом наберу. «И спросишь, сколько раз за эти дни и с кем у неё было...»

– Заткнуться! – проревел я опять и опять стукнул по столику.

Чашка зазвенела. Я никогда не вынимаю ложечку. Я оставляю её там до тех пор, пока не выпью чай. Я привык так с детства. И шнурки я тоже неправильно завязываю: делаю сначала две петельки и только потом связываю их в узел. И не хочу переучиваться, мне нравится. И зубы у меня кривоватые, но оттого улыбаться я не перестаю, наоборот – улыбаюсь тем чаще, чем они кривее. И мне нравится, что они такие. Я смотрел на Василину и вспоминал всех известных мне звёзд эстрады. У всех, как у одного, – зубы белые, как редкий декабрьский снег, и ровные, как частокол, на котором объединённые общественные силы ещё ничего существенного не изобразили. Неинтересно. Никакой восточной философии, никакой тонкости мышления.

Вот если маникюр исцарапан и фиолетов, как у той проводницы, – значит, всё в порядке, значит, человек, хоть, может, и дурак, но не чужд прекрасному. Тут сказать нечего – только молчать в трепете и покрываться благоговейной испариной. Приснилось оно мне, приснилось... Такое может только присниться...

Так неужели я спал? А вдруг не приснилось? Ну по крайней мере вздремнул – после Кассиопеи, так? Немножко-то ведь вздремнул? Иначе как объяснить пустоту в голове и тот факт, что ничего не помнишь? А живот, вернее, желудок – почему он пуст и дребезжит, как харя алкоголика? Есть охота? Ещё как охота! Опять, что ли? Отчего же вдруг?

Я прищурился, как будто от узких глаз мысли становились чётче и яснее. Так, вчера я ужинал, точно помню. Взял кусок хлеба, намазал на него еврейского хумуса, потолще, поаристократичнее, и съел, запивая чаем. Потом взял банан, посолил и выбросил в окно, как в том анекдоте. Ещё поел орехов с мёдом. Орехи я люблю, но не все. Надо знать, какие я люблю, чтобы иметь право заявить во всеуслышание: вот, я разбираюсь в этом человеке. Поэтому я до сих пор никому душу до конца не открыл, и к каким питаю

любовь орехам, тоже не поведал. В общем-то и всё. Такой вот выдался простенький ужин, без излишеств. Потому что его по правилам отдать надо врагу. Всё врагу мне отдать не позволяет воспитание, а вот часть с солёным бананом – то, пожалуйста, жрите. Поэтому вторую половину, самую лакомую, я всё же съедаю самостоятельно, без чьей-либо вражеской помощи.

Так что – ужинал. Дальше возникает вопрос: вчера ли ты ужинал или позавчера? И на какой неделе? Я ещё больше сощурился, так что предметы в комнате обрели сказочно-расплывчатые черты того самого неумелого гроссмейстера-импрессиониста. Я осматривал свечи на нижней полке, и мой взгляд медленно скользил вверх, мимо непонятого мной Ницше, странного Платона и суетливого Довлатова, пока не остановился на толстой стопке помятой бумаги. Это мой первый законченный роман. «Мост в тишину». Он уже два года там ждёт своего времени, лежит, неопубликованный, читанный только мной и отцом, скорбный.

Прочитав это творение, папа прокомментировал: «Отличное, отличное чтиво. Особенно сцена посередине на пять листов. Отличное чтиво!» Я так и понял, что из двухсот оставить полагалось всего пять. Что ж. Когда напишу, кажется: с ума сойти, шедевр, коего свет не видывал! А как начинаешь читать...

33

Поэтому я свои вещи стараюсь всё-таки не читать. Пусть полежит пару лет, может, созреет. Открою тогда список редакций и разошлю всем подряд, потому что Гонолес и его публика для него будут тесны. Ему нужна будет после такой выдержки – как минимум Москва, Петербург, интеллигенция. Пять страниц захватят даже Нью-Йорк с его средненькими людишками. Но не Гонолес.

И всё же спал ты, ещё как спал. Спал как убитый. Просто не помнишь. Я взял в руки чашку, посмотрел внутрь. По стенкам, как при раскопках древних пород, слоями расходились коричневые разводы. Вот этот глоток я сделал в девять часов, этот – без пятнадцати десять, а вот этот уже – в двенадцать, ровно перед тем, как выехать в Гонолес. Остался последний глоток – сейчас (около четырёх?).

Я допил остатки. Я посмотрел на потёртый пакетик сахара. Который это из двух, с которыми я успел столкнуться за день? Из поезда или из автобусной кассы? Я не помнил.

Потом была интересная мысль – её я тоже не запомнил, – а в одночасье перешёл ко второй: говорят, в романе должно быть «путешествие героя», думал я, рассуждая о своём недавнем произведении, герой должен якобы куда-то идти, к чему-то стремиться. Что за пафос! Что за посредственный подход? Кто сказал, что герой вообще должен что-либо делать?! В моей последней рукописи герой даже из квартиры не выходит! Он морально разлагается, в теории и на практике, ему претит любой вид деятельности, он не такой. Он против. Против чего, он ещё не решил, но он не ломается, он всё равно против. Хорошо, может, они имеют в виду путешествие метафизическое, так сказать, внутренний мир и его какие-то устремления. Но и здесь ни черта не сходится. В мире моего героя ровным счётом ничего не происходит, и сам он никак не меняется и меняться не желает, ну, может, только чуть-чуть, из праздности и каприза. Как быть с такой книгой? Что делать с таким героем? Имеет ли он право на существование? Может, они приняли мой роман по ошибке? Или у главреда совсем отсутствует чувство прекрасного?

Исключено. В интернете я читал их журнал, и мне не было тошно. А мне всегда бывает тошно, если я соприкасаюсь с пошлятиной или бульварным чтивом. Меня не вырвало на линолеум и не вырвало бы даже на пробку, когда я узнал, что на последней странице они размещают гороскоп, а перед ней предлагают читателям разгадать сканворды... В любом случае чувство если не прекрасного, то хотя бы намёк на нечто рациональное там присутствовал.

Не стоит заикливаться на этом, подумал я, признаваясь себе, что со сканвордом они всё же переборщили, и параллельно сравнивая пакетики. Один был зелёный, другой –

ничем от первого не отличался, такой же зелёный, такой же пакетик, с таким же, думается, содержимым. Как же их отличить? Сейчас положу оба на стол и перемешаю – всё, след потерян. Я никогда не найду уже тот, что держал в левой руке, равно как и тот, что держал справа. Это так и останется тайной мироздания, и я не буду знать: может, вот этот пакетик – как раз тот, что был в моей правой руке, но с такой же вероятностью он мог быть и в левой. «Хватит!» – воскликнул я безмолвно. Не задавай себе вопросы, ответы на которые недоступны твоему скудному интеллекту. Я положил пакетики обратно.

Так же и с романом. Не могу знать я наверняка о его гениальности. Могу только подозревать. Только догадываться по наитию, предполагать, что он великолепен. Но знать наверняка – увы. Тут я обречён не меньше девятиэтажки, чья судьба подарила ей ровно девять этажей, ни больше ни меньше. Приняли – и приняли. Надо думать, что дальше, в каком направлении двигаться. В начале августа, как раз перед выборами, мне должны привезти печатную машинку. Первую в моей ещё не состоявшейся карьере писателя. Я, несмотря на гендерные цветовые предпочтения, сначала хотел розовую, мне безразличны предрассудки, но розовую уже купили, поэтому я согласился на оранжевую. Какой-то безымянный мастер в Санкт-Петербурге, в одной из крохотных квартир душного прелого двора, в котором не летают птицы и куда не заглядывает свет дня, прямо сейчас, в этот самый момент смазывает все детали, проверяет, как стучат клавиши: бойко или вяло, мажут или оставляют резкий отпечаток, наконец, звучат они красиво, мелодично, как будто поэт читает хайку, или хрипло и беспокойно, как будто моя собственная совесть хочет опять сказать мне что-то грязное, – бережно собирает он все детали, смотрит работоспособность каретки, убеждается в ровности строк, потому что всё это мне понадобится... и вот тут я спрашиваю себя, вслух или в голове: зачем?

На этот вопрос следовало бы ответить, опять же, если бы ответ был понятен. А так я, как всегда, только догадываюсь. Ну так вот... Если последняя книга гениальна, то её уже не перепрыгнуть, тогда и печатная машинка ни к чему. Вывод? Вывод простой, как желание наркомана: пусть лучше она не будет гениальна. Пусть это будет книга пошиба чуть выше среднего, не совсем плоха, но и не слишком великолепна, потому что иначе, если вдруг признают и скажут мне прямо: «Да, Павлик, вы гений», – я обреку сам себя на постепенное увядание и нежелание писать что-либо ещё. Мне будет страшно, задав такую высокую планку, вновь братья за письмо. Пусть у главреда, этой кучерявой бестии, я согласен, пусть у неё не будет вкуса, зато в постели она...

34

Не отвлекаться. Привезут мне, значит, машинку, заправлю в неё лист – и понеслась трава по кочкам. Слово за словом, абзац за абзацем. Листы будут вылетать, как с фордовского конвейера, и я опять буду выдавать сверхнорматив. Вот оно, это новоиспечённое произведение, пусть будет чуть ближе к гениальности, но снова – не совсем гениально, немного не дотягивает до совершенства. И так далее, из года в год, пока однажды я не скажу, что мне надоело, и уж тогда все хором скажут по чести и долгу, что всё, когда-либо мной написанное, с самой первой буквы, было настолько потрясно, что они просто не решались мне об этом сказать, а так-то они считают, что всякий житель планеты вне зависимости от происхождения и своей расовой неполноценности должен обладать хотя бы одной копией каждой из моих книг. Только тогда, покаются они, в мире высокой литературы люди обретут спокойный сон.

Я кивал своим мыслям, довольный. Позвонили в дверь. Я сжал челюсть. В который раз! Если это снова, извините, педераст со своей жалобой на Крида, я ему... В такое позднее время! Я посмотрел на часы, но часов на руке до сих пор не было. В спальне, в спальне лежат. Плохо. Нельзя быть таким растяпой. Но хотя бы уже звонят, а не стучат, как колхозники. Нашли же звонок, откопали! Во тьме или во мраке, в любви или ненависти, но человек думающий сначала осмотрит дверь, косяки, аккуратно прощупает стены, может, заглянет на всякий пожарный под коврик, оторвёт плинтус, мало ли, и

только тогда, если заветная кнопка звонка не найдена, постучит. А тот урод сразу начал лупцевать мою входную дверь, да ещё несколько раз! Где такое видано? Постучал разок – и заткнись. Потерпи, успокойся. Подумай о боге. Человек, может, в туалете, читает? Ему надо дочитать и выйти сперва из туалета, чтобы тебе, колхознику, отворить, а ты стучишься...

Дзыыыынь! Звонят, да. Хорошо. Как похоже на мой телефонный звонок. Но это не телефонный звонок. Это звонят в дверь. За пару лет я научился их различать. Мой телефон звонит вот так: дзыыыынь. А дверь вот так: дзыыыынь. Разница небольшая, в нюансах, но, если прислушаться, есть, причём колоссальная. Надо только прислушаться. Я прислушался. Да, звонят в дверь.

Что делать. Я встал и, не чувствуя вновь онемевших ног, шатко побрёл в коридор, где споткнулся о балансборд и, потеряв всякое равновесие, рухнул рядом со шкафом, как мешок удобрения. Было больно, но больше всего было – обидно: я решил прийти к человеку, спуститься к нему с высоты своих дум, кто бы он ни был, за чем бы он ни пришёл, но вот благодарность – я снова слился с полом и лежу на нём, поверженный, в таком унижительном положении. А ещё звонят...

– Иду, иду! – закричал я с пола.

Второй раз за день поднимают. Опираясь на шкаф, я кое-как заставил себя встать и, похрамывая, доковылять до двери. Я посмотрел в глазок и, немного замешкавшись, открыл. Мне не хотелось никого видеть, но вежливость во мне победила уroda. Манеры всегда портили мне жизнь. Будь я сволочью, жилось бы гораздо проще. На пороге стоял Андрей.

По его лицу трудно было сказать, рад он меня видеть или нет. Скорее, это он пытался понять по моему, насколько я рад или не рад его визиту, и, думаю, несложно было догадаться, что радость во мне напрочь отсутствовала. Но Андрей всё же улыбнулся:

– Старый пёс. Ты до двери доходишь уже, как старик, за целых две минуты.

– Ты засекал?

– Зачем засекать, если ты, старый пёс, чтобы дойти до двери...

– Ладно, ладно, не повторяйся.

Тут я подумал, что мог бы рассказать ему про редакцию, про то, что съездил в Гонолес, побывал на панихиде, там же лобызал главного редактора, и потом ещё многое чего можно было ему рассказать. Я тоже улыбнулся. Не всё же думать в голове. Нет, хорошо всё-таки, что зашёл. Я сказал, как бы убеждая самого себя:

– Хорошо, что зашёл, Андрюха!

– А по тебе не скажешь, – ответил Андрей, разуваясь.

– Это особенность моего лица. Оно чувствует подлецов даже сквозь двери.

– Если твоему лицу понадобится корректировка, мои мощные кулаки к твоим услугам.

Я посмотрел на кулаки Андрея. Они в самом деле были огромные, как у диктатора. Конечно, не у всех диктаторов огромные руки, их почти даже ни у кого нет, но у некоторых они всё же превышают какую-то определённую человеческую норму. Я смотрел на кулаки Андрея. Это всё, думал я, оттого, что пишет много. Он был первым среди моих друзей, кто выпустил книгу и кто сам себя пролоббировал в википедии. И кто печатался в газетах, которые никто не читает. Может, поэтому я и не читал ни одного его рассказа. Даже книг его читать не стал. Я поверил ему на слово, что тексты хороши, хотя знал, что, ничего не прочитав, ничего и не упускаю.

На кухне, пока кровь прилиwała к моим ногам, а я уже начинал чувствовать первые позывы нестерпимого зуда, мы разговорились. Андрей был чем-то подавлен.

– Три книги написал, а толку? Торчать в долбаном офисе, организовывать футбольные матчи – вот это феерия, правда? Работа мечты! Это что, нормально, что ли?

– Ну, многие писатели...

– Да, многие... Я знаю, что многие. Но я же не «многие». Я ненавижу футбол, так хуле мне там делать? Если так пойдёт и дальше, прыгну с девятого этажа, спорим?

Он протянул мне огромную руку. Выгодный спор, подумал я. Если проиграю, ему ничего не достанется. Я с готовностью её пожал, но сразу же обвинил себя в легкомыслии. Андрей страдал от мимолётных приступов депрессий и таких же мимолётных маниакальных эпизодов. Во время последних он и успевал писать свои книги. А всё остальное время либо сидел в своём офисе, ненавидя работу, либо блуждал по городу, думая о ненавистной работе, либо спал и видел сны, где поджигает свой офис. Нельзя было с ним так, даже больного юмора ради.

– Ты же не будешь...

Андрей выдал из себя нервный смешок:

– Я похож на идиота?

– Только наполовину, – сказал я, продолжая острить.

Наверное, на моём лице читалось, что вопрос его – риторический с положительным подразумевающимся ответом, безо всяких там «наполовину», поэтому он отчётливо выговорил:

– Не буду я прыгать, – и, подумав, тихо добавил: – Пока...

Я знал, что ему что-то от меня надо. Может, посодействовать в самоубийстве, может, успокоить душу его неприкаянную или ещё что. Я часто выслушивал его жалобы на несправедливость и тому подобное, но они всегда оказывались лишь прикрытием, аперитивом к чему-то более пикантному.

– Ты не про работу пришёл мне рассказывать, верно?

– Нет.

– Ну?

– Что ну? Бросила она меня, вот что.

Я разочарованно вздохнул.

– Разве не каждую неделю она тебя бросает?

– Каждую... Но на этот раз всплыла новая информация.

– Какая же?

– У неё есть... – он запнулся и виновато посмотрел мне в глаза, – другие...

– Другие? – переспросил я. Меня во все времена почему-то заводили шлюхи. В частности, те мои дамы, которые параллельно со мной спали и с другими, возбуждали меня больше всего. Мне казалось это непристойным и дурным, но я ничего не мог с собой поделать.

– Именно. Не другой. Другие.

– Сейчас, что ли? То есть одновременно, я имею в виду?

– И сейчас, и одновременно...

Я заложил руки за спину и важно заходил вокруг стола, как сыщик, напавший на след кроважадного маньяка.

– Так или иначе, Андрюша, все бабы по-своему проститутки, – ничего более умного для сыщика в голову мне не лезло.

– Да, но... Вырубает то, что она сама мне об этом сказала. То есть не я где-то от кого-то узнал, не мне сообщил какой-нибудь там её приятель и так далее – сама в открытую всё выложила, понимаешь?

Я не понимал. Я никогда не понимал загадочное иррациональное поведение женщин.

– Понимаю, – соврал я, – отлично понимаю.

– Сказала, что в понедельник была с одним, во вторник – с третьим, а сегодня сказала, что вообще встретила свою любовь и уходит навсегда. Чтобы я о ней забыл. Отдала мне ключи от моей хаты, и ариведерчи. Представляешь?

Учитывая открывшиеся обстоятельства, было необычно видеть Андрея трезвым, но он логично парировал, что больше пить не может. К тому же врач ему не рекомендовал. С

маниакальной депрессией выпивать было опасно для общества и для его собственной жизни, которой, скажем прямо, он не так уж дорожил.

Я начинал расстраиваться, потому что как я ему расскажу о своих успехах? О моей любви, о моих чувствах? Это будет край непристойности, если я его сейчас вот дослушаю, все его горести, и потом так: «Ты знаешь, а лично у меня сегодня был самый прекрасный день в году, и вот почему...» А дальше во всех красках описание сосков Кассиопеи, её лона, моего восхождения на литературный Олимп через гонолесскую редакцию... Я не грубиян, я так делать не стану. Поэтому я начал издали:

– А знаешь, ездил я сегодня кое-куда на автобусе...

Но Андрей был слишком поглощён своим любовным несчастьем, поэтому перебил меня, даже не начав слушать:

– Ты правильно сказал: женщины – все такие. Но в особенности, скажу теперь тебе я, в особенности такие – главреды. Я это уже не в первый раз подмечаю.

«Главреды? Какие ещё главреды?» – подумал я.

– Да-да, главреды, – сказал он, словно читая мои мысли. – У них у всех – никаких абсолютно принципов. Всё по барабану. Вот я ей говорю: коктейль будешь? Она: буду. А шампанское, спрашиваю, будешь? Тоже, говорит, буду. Ну а водку-то ты будешь, допустим, спрашиваю я, совсем отчаявшись. Так она и от водки, говорит, что не откажется! Какие тут к чёрту принципы, если готова пить всё подряд? На уме только журнал и короткие, ни к чему не обязывающие интрижки.

– А я думал, ты не пьёшь... – задумчиво произнёс я.

– Не пью, а вот главредши – пьют без остановки.

Он раньше ничего такого мне о ней не сообщал. Да в общем-то я и не спрашивал, если уж на то пошло. Я тоже был поглощён – только своей нафантазированной гениальностью и собственной писаниной. И прежде, чем я успел спросить у него название журнала, он сам мне его назвал, и я побыстрее отошёл к окну, вперившись пустым взглядом в темневший двор и сжимая пальцами подоконник, чтобы не выдать своего волнения. Она. Точно она. Я ещё на всякий случай уточнил, в каком городе редакция и не кучерявые ли у неё волосы, а он сказал, нервно так и подло:

– Зачем тебе? Хочешь за ней приударить? Хи-хи-хи.

Это был его смех и моя боль: «Хи-хи-хи», – и мне было жаль самого себя, я ещё сильнее сжал подоконник и ещё больше вперился во тьму. Тварь. Похотливая тварь. Блудница. Искусительница. Блядь.

Как она могла? Из рассказов Андрея я знал, что встречались они последние полгода и что она изводила его постоянными расставаниями, но я никогда не вникал в детали. Мне было не до того. Я только смотрел, как Андрей всё больше хиреет и всё чаще упоминает, как бы в шутку, о девятом этаже, почему именно цифра девять его заводила, я не спрашивал и пытался хоть как-то его рассмешить. Я говорил что-нибудь вроде: «Помнишь, как мы пиздили сторожа на ночной стоянке?» Или: «Помнишь, как мы угнали каток, а потом два дня пытались словить глюки от цикория?» Или: «Помнишь, как однажды ты сказал прохожему, что лучше перепелиных яиц могут быть только сами перепёлки?»

Ничто не помогало. Она уходила от него каждую среду, чтобы вернуться, измотанной и выпотрошенной, в воскресенье. А он увядал и увядал. Сегодня он был совсем исхудалый, на нём не было лица, и среди его гнева я даже заметил искру смирения, что было хуже всего.

Да, но я-то не смирюсь! Она ходит по мужикам, как по тротуарной плитке, а сама извивается в моих объятиях под дождём, да так, что не поверить каждому её движению просто невозможно! И я её привёл – в собственные пенаты, показал кухню, вывел, как полагается, на балкон и бросил наконец на овечью шкуру, где не было до неё ещё ни одного женского тела, потому что шкуру я приобрёл только в мае, и с тех пор ни одна

женщина у меня не появлялась, а теперь был почти август. Я охранял свою обитель от низкой социальной ответственности. Доохранялся, в общем.

35

Я заскрежетал зубами, но тут обнадеживающая мысль посетила меня, пробиваясь сквозь остальные, пасмурные и не столь обнадеживающие: он что-то сказал про «любовь»? что сегодня, то есть в среду, она встретила свою любовь? что уходит навсегда? Так он сказал? Точно, так и сказал. Так что же, до меня, может, это всё было баловство и шалость? Ведь каждому надо познать грани плотских утех с разными партнёрами. Иначе как она узнает, что вот здесь, на этом человеке, и нужно остановить свой выбор? Значит, уехала от меня и сказала Андрею: «Я нашла свою любовь. Извини»?

Как всё сложно... Я немного ослабил хватку: пальцы начинали болеть от напряжения, – и осмотрел двор. Было не так уж и темно. Было светлее, чем я думал. Ещё даже не зажглись фонари. Во сколько нынче темнеет? Что-то около восьми-девяти? Может быть. Вполне может быть. Я же говорил, летом так всегда: не успел проснуться, как снова надо идти спать... День прошёл, а я толком ничего и не сделал. Только что Гонолес... Я аккуратно заулыбался, так, чтобы Андрею не было видно. Пусть пока пьёт чай и забывается в своём горе.

– Сахар нужен? – спросил я.

– А ты сам как думаешь? Конечно нужен. Хоть что-то будет сладкое в моём дне. Как ты хлещешь этот чифир без ничего?

Я не понял, что он имел в виду: дно или всё-таки день.

– В зале на столике, – сказал я.

– Ты всё кухонное держишь в зале? – говорил Андрей, растворяясь сутулым скелетом неудачника в прихожей.

Я промолчал. Я улыбался во весь рот.

Да, так даже лучше. Если бы до меня у неё никого не было и она вдруг сказала, что нашла свою «любовь», – чего бы я тогда стоил? Стоил бы я тогда вообще чего-нибудь? Я просто бы пал первой жертвой неопытной акулы, по неискущённости решившей, будто любая пища – лучшая пища. Прошло бы время, и она бы научилась отличать скупое качество Китая от итальянского шика, умело приготовленное мясо от грубого шашлыка из бараньей печени, модерн, наконец, от ваби-саби. Теперь же всё указывало на то, что все эти стадии ей уже пройдены, а обучение выполнено неумелыми любовниками ещё до меня, поэта в прозе. Получалось, что до наших объятий она прошла всю палитру от ультрафиолета до инфракрасного и, наконец, выйдя за рамки спектра, обнаружила, что там – целый необъятный мир красоты в моём лице, сочетающий в себе умеренный нарциссизм, рыжий цвет волос, остроумие, миндальную радужку глаз, умение достойно держать себя в постели и редкий, редчайший писательский талант. Она обвила меня своими ногами и чарами, вскружила мне голову, потому что не хотела больше отпускать, хотела пристать ко мне как банный лист. Выходило, что я – итальянский шик, настоящее мясо, ваби-саби. Иными словами, лучший. По всем статьям и параметрам.

Завтра же ей позвоню и объяснюсь. Расскажу про свою к ней любовь, она взаимна, хоть и не так бесшабашна, скорее выверена и точна, и признаюсь, что до самого последнего сомневался в её вкусе, сначала это были сканворд и гороскоп в её журнале, потом эти французские духи, наверное, что-то ещё, но больше сомнений не осталось совсем.

Андрей вернулся, как-то неодобрительно прокомментировал мою зелёную скакалку, из-за которой чуть не упал в зале, ссыпал оба пакетика в чашку и взял ложечку, чтобы размешать. Он медленно опустил её в чай и стал водить против часовой стрелки. Я сделал огорчённое лицо, повернулся к нему.

– Это чашка, стакан или кружка?

Не отрывая взгляда от тёмной жидкости напитка, этого страшного напитка, заставившего меня работать шесть дней не покладая рук и сегодня ещё не переставая думать, он ответил, что чашка.

– А ты мне ещё вот что скажи, – начал я задумчиво.

Андрей мельком взглянул на меня и, ничего интересного не увидев, опять устался в непостижимые глубины своей, нет, моей чашки. Смирился, да. Его лицо было покойно. Вот-вот у него начнётся мания, я знаю. У него всегда так: приступ мировой печали, смирение перед неизбежным, восхождение на Эверест без кислородной маски. Тогда он забудет о Кассиопее, этой львице страсти и повиновения, и я смогу как положено взять её в оборот. Установить с ней вид наших отношений.

– У твоей этой подруги – как у неё с литературным вкусом?

– Честно? – Андрей всё размешивал сахар. – Вот то-то и оно, что не очень. Не знаю, как меня угораздило. Ты её журнал видел? Называется «Беспечный ездук Гонолеса». Она такую дрянь туда выбирает, что не каждый киоск отваживается его продавать, боясь общественного осуждения. Одно название чего стоит...

– Да? А мне вроде ничего, понравилось...

Андрей усмехнулся:

– Во-первых, не разочаровывай меня: я не думал, что ты такое читаешь. А вторых, ты, наверное, плохо читал. Дрянь дрянью, говорю же. И вообще странно, что ты его читал.

– В смысле? – нахмурился я, чувствуя приближающееся разоблачение. Мне всегда плохо удавалась ложь, только если я не врал себе.

– Ну это один из тех журналов, которые никто не читает.

У меня внутри всё опустилось.

– Как? Совсем никто?

– Ну, я иногда ещё читаю, если вдруг хочется побыстрее нырнуть в депрессняк. В последнем номере – видел гороскоп?

Я что-то проямлил невнятно.

– Там вот что про Водолеев было написано, я запомнил: «Во второй половине лета звёзды наделят вас естественным магнетизмом». Ты прикинь! Это они такое печатают в литературном якобы журнале. Беспечный, мать его, ездук, ну как же. Мне иногда её, если честно, даже жаль, Кассиопеюшку. И где мой, скажите, магнетизм? Чего это она ко мне не тянется?

Он говорил что-то ещё, я не слушал. С последней книгой, значит, всё понятно. Гроша она ломаного не стоит. Можно без сожаления спустить в канализацию. Что ж... Буду, в таком случае, ждать своей оранжевой печатной машинки. И уже на ней отстучу шедевр. А то – пусть публикуют или не публикуют, мне уже всё равно...

Мы ещё какое-то время поговорили, Андрей сказал, что ему пора: до утра нужно составить план футбольных матчей на следующий сезон и, если повезёт, написать какую-нибудь заметку о падении литературных нравов. Напоследок я посоветовал ему не прыгать с девятого этажа, если всё же надумает, так как он низок ростом и цифра девять негативно скажется на его карме. Ему гораздо больше подойдёт восьмой. Восьмого ему вполне хватит. Мой балкон к его услугам, 24/7. Он сказал, что примет к сведению, и ушёл. Он ушёл, а я остался. Один наедине со своими мыслями. Опять. Через пару минут, дождавшись, когда сгорбленное тело Андрея скроется за углом здания, я зачем-то взял зонтик и вышел на улицу. Было сыро. Темнело, фонари до сих пор не горели.

Тепло разливалось щиплющей массой по бульварам, как бывает летом сразу после жаркого дня. Двор пустовал, это делало его притягательным. Мне всегда нравилось здесь ходить, когда не мешали люди. Погрузившись в думы, со сложенным зонтиком в руке, я пошёл по круговой дорожке вдоль кустов и невысоких деревьев. Я представлял, что

прохожу круги ада, мне это казалось забавным и даже смешным, я иногда негромко смеялся, а потом вышел из двора и направился в парк Обрывистый, тот, что имени Ким Чен Ына.

Этот ублюдок ещё живой? Надеюсь, что нет, раз в его честь уже называют белорусские парки. Такой хороший парк, здесь растут отличные деревья, он зелен и всей своей сущностью девствен, а назван по инициативе какого-то одарённого умника в честь северокорейского диктатора, у которого тоже, наверное, были большие руки. Ирония, правда? Иронию жизнь нам подкидывает в режиме нон-стоп, ей никогда не становится это в тягость. Вот альпинист, заслуженный мастер спорта, брал все вершины мира, а наемдни поскользнулся в ванной и головой – о чугун, пожалуйста. Или медик, всю свою сознательную жизнь спасавший чужих людей от витиеватых болезней, не смог спасти родную мать от обычного гриппа. Шумахер, ставший паралитиком после обыкновенного лыжного спуска. Доколе? Я сокрушался и стучал остриём зонтика по асфальту. Доколе это всё будет продолжаться? Зря они так обозвали парк, в общем. Даже нелепое и одинокое «обрывистый» звучало куда лучше. Буду впредь так его и называть, коротко и ясно – Обрывистым.

Мне было интересно, нападут на меня вороны или нет. Я никогда не прогуливался там вечером. С утра и днём они почти всегда вздымались ввысь, начинали истерично каркать, а потом пикировали всё ниже, проносясь над моей черепушкой и пытаясь меня запугать. Но я никогда не поддавался на их провокации. Я пытался посылать им сигналы добра и стоял на месте, как стоял. Наконец и они, и я уставали от бессмысленной борьбы, и каждый шёл/летел в свою сторону. Я, как правило, куда-то к четвёртой ТЭЦ и кольцевой, они – куда-то в кроны деревьев.

Странное совпадение, но нападать подобным образом они стали около месяца назад, как раз когда я купил себе кожаную записную книжку с изображением на ней вороны, чтобы вести дневник и записывать всё то, что со мной происходит. До этого мне нравились вороны. Они были черны и загадочны. А теперь они мне не нравились. Их первое нападение в этот дневник я и записал. Ирония. Я их ненавидел.

Не так давно я сидел у фонтана и смотрел, как какие-то парни неумело катаются на полуразбитых скейтах. Подлетело несколько нервных ворон, они ходили вокруг да около, не предъявляя конкретно своих требований, но я догадался. Я достал из рюкзака банан (не солёный) и кинул им кусочек. Они с жадностью на него набросились, и никто из них не стал меня прогонять и на меня каркать или ещё как-то выражать своё недовольство. Может, они из тех, вечно голодных, как студенты, и их просто нужно прикармливать?

Может, и так. Жаль только, я теперь не взял никакого банана. Но вдруг ночью они и не нападают? И не едят? А если нападают и едят – так всё-таки тогда жаль, что не взял. Как бы там ни было, ничего в моих руках, кроме зонтика, у меня не было. И надо было с этим смириться так же, как Андрей смирился со своим горем. Перетерпеть. Каково, однако, совпадение!

Или совпадение, или девица эта настолько популярна среди художников всех мастей и людей творческого склада ума, что прошла уже по всем рукам, и удивительно было б наоборот: если бы мы с ней не встретились. В ностальгическом порыве мне хотелось, чтобы пошёл дождь. Я даже пару раз специально открывал для этого зонтик и напевал специальную песенку вуду, но дождь так и не начался. А я хотел, чтобы он пошёл. Как тогда. Мало ли. Вдруг вновь она возникнет из-за двери и скажет мне что-нибудь приятное.

Я шёл, погружаясь в думы и краем глаза наблюдая за окрестностями в поисках ворон. Как назло, даже вороны решили обделить меня в этот вечер вниманием. Было тихо. Редко по кольцевой проносились машины. Вдалеке ТЭЦ клубилась бархатным дымом. Но это был не тот дым. Тот дым вверх бы не поднимался, потому что он уже был бы на самом верху, так наверху, что выше уже просто некуда, и тогда, может быть, тогда отворилась бы церковная дверь...

Я силой запретил себе об этом думать, было сложно, но я запретил. Я два года медитирую на своём йога-коврике, течение мысли иногда мне подвластно. Запретил потому, что ещё не определился насчёт Кассиопеи я. Достойна ли она возникать в моей голове, где пространства меньше, чем нужно для всех моих великих мыслей и заветных мечт о не менее великом романе, или не достойна, а потому пусть себе и далее блудит по художественному элементу, выбирая паршивенькие тексты для публикаций. Я ещё не решил, но уже задумывался, что, возможно, стоило бы завтра ей позвонить, только не для того, чтобы назначить randevu или признаться, а чтобы сказать, нет, заявить, упрямо, сухо и почти односложно: «Я ещё подумаю на наш счёт», – а потом добавить, чтобы они снимали моё скромное произведение с печати. Я не достоин такой чести. Я долго спал после недельной работы, целый день и всю ночь, размышлял и вот надумал: роман мой недостойн вашего глянца со сканвордами, я, может так стать, недостойн тебя и твоих поцелуев, а шкуру тонкорунной овцы, не волнуйся, вышлю тебе, если хочешь, первой же бандеролью в качестве утешительного приза или прощального подарка. Но я же ещё не решил. Да, не решил, поэтому не буду торопиться и сжигать мосты. Она может мне ещё понадобится.

Нужно всё как следует обмозговать. У меня есть ещё пару часов, а потом ещё несколько с утра. Всё так. В спешке и на эмоциях никогда не принимаются благородные решения. Надо остудить голову и отрешиться.

Главное – это то, к чему я сегодня пришёл: известность мне улыбается, но безразлична. Разве мог бы я иначе вот так вот прогуливаться? В спокойствии и гордом одиночестве? Неподступный, как юбка девственницы, и обаятельный в своей неспешной поступи? Для меня бы это была невозможная роскошь. Нет, то не жизнь, то мучение. Мне такого не хотелось. Пусть меня атакуют вороны, я буду изредка их из жалости и доброты кормить или растаптывать, будем с Андреем по вечерам обсуждать наши неудачи. И я не буду жаловаться. Так всем будет хорошо. Не нужна мне никакая известность.

Стой, так разве ж я жалуясь? «Ты вечно жалуешься, как поц, не прошло ещё минуты, чтоб ты не жаловался, и, честно, я не уверена, как много ещё смогу это выдерживать». Я помотал головой, пытаюсь вытрясти оттуда этот хрип, это бляение, но оно становилось только громче. «Чего башкой трясешь? Ты, сукин сын, даже сейчас идёшь и жалуешься. Просто не замечаешь. А не замечаешь потому, что весь поглощён жалобой». – «Вот как?» – спросил я. «Да-да, именно. Именно так. Жалуешься – что не шаг, то жалоба. Вот, смотри». Я стал куда-то смотреть. «Да не туда, болван, смотри, не наружу. Внутрь зри, вглубь! Умеешь?» – «Умею», – соврал я. «Ты даже врать не умеешь...»

Я не смотрел вглубь, и внутрь я тоже не смотрел, как и вширь, и вузь. Мне уже было всё равно. Я смотрел себе под ноги, чтобы опять не споткнуться, и иногда – в сторону приближающегося парка, который источал темноту мистерии, сумрак предстоящей ночи, сгущавшейся в этом усохшем клочке пространства. Я слушал свой мягкий шаг. И вдруг я заговорил, неожиданно для нас обоих:

– Совесть, а, совесть? – сказал я вслух, громко и уверенно.

«Ну, что тебе, слезливый...»

И тут я остановился, ловким движением руки подхватил зонтик, развернул его к себе и остриём вонзил по самую бамбуковую рукоять его в совесть, так что та запищала, закорчилась, закричала, тоже вслух и матерясь, да таким трёхэтажным матом, что я сам про себя удивился: «Вот это да. Воистину неизвестен громадный потенциал человека...»

А она всё изворачивалась и визжала, уменьшалась и тонула, а я только сильнее вкручивал в неё острый зонтик и даже, кажется, специально, с такой мазохистской злостью пару раз его открыл, на что она окончательно завывала, стала умолять больше так не делать, стала пресмыкаться, но я открыл его тогда ещё несколько раз, в назидание всем народам прошлого, – она стала причитать, обещая, что больше не разинет рта, не будет лезть в интимные области моей жизни, что даст мне жить спокойно, а сама будет

потихоньку поедать мои мозги, без этого никуда, и душу, но так, чтобы я не чувствовал и чтобы мне не было больно. Я не зря проходил курс переговоров с террористами, потому что из него мне стало известно, что с ними переговоры не ведутся. Я стал бешено открывать и закрывать зонтик, туда-сюда, слева направо и справа налево, а потом открывал его вдоль и по диагонали, и она стонала, стонала, пока стон её не стих в последних карминовых лучах заходящего солнца. Больше она меня не побеспокоит. Никогда и во веки веков. Загорелись фонари.

37

Как-то совсем быстро после этого, если не сказать мгновенно, я увидел себя дома. Обратный путь был как в бреду. Вот я иду вроде к парку, а сам тем временем приближаюсь к дому. Но ведь парк в другой стороне? Как такое возможно? «Это из разряда странного перемещения между овечьей шкурой и креслом, что ли?» – спрашивал я себя, но не находил ответа. Я только в небе искал ворон и смотрел, не горит ли в моих окнах свет. Свет горел. Разными цветами переливалась спальня – это включился светильник, который каждый вечер загорается примерно в девять ноль-ноль вечера и тухнет ровно около полуночи. Ещё была не полночь и давно, значит, пробило девять. Мне это нравилось – засыпать в искусственном северном сиянии.

Свет горел и в зале. А вот это интересно. Зачем он там горит? Я его всегда выключаю, когда ухожу. Да и включал ли я его сегодня? Наверное, всё-таки включал. Или Андрей включил, когда пошёл за сахаром. В конце концов я так и пришёл домой – по пути в парк и так до Обрывистого и не добравшись. Оставался, казалось, метр, вот я уже проходил беседку, в которой алкаши с первыми звуками дня выпивают не первую свою бутылку дешёвого пойла – я с ними часто разговаривал о том о сём, и они мне подробно рассказывали про свои удивительные жизни, это было интересно и увлекательно. Я, с утра пораньше пробегая мимо, мог на полчаса застрять в беседке, пока вороны готовились склевать мне макушку, стоило мне только переступить границу общественной улицы и парка. Алкаши были то добрыми, то злыми, то задиристыми и неводержанными, то покладистыми и шёлковыми, но каждый раз оставались интересными, невероятно интересными, кладезем эмпирических познаний.

От них я, допустим, узнал, что на прошлой неделе в соседнем дворе осколком из соборного витража зарезали Витьку – за то, что тот ходил под руку с чужой барышней (я теперь, вспоминая этот рассказ, передёргивался и крестился). Я также был проинформирован, что жизнь тяжела, но прекрасна, особенно если это утро и в руках твоих – ещё не до конца выпитая бутылка. Исходя из своего прошлого опыта, я согласился. Ещё они мне рассказали, будто это не случайно, что они всегда ходят втроём. Меня не потрясло и это: я тоже всегда выпивал втроём, кроме тех случаев, когда мы с братом соображали на двоих или когда я квасил в одно, что называется, рыло, – но я проявил уважение и поинтересовался, почему же. А сам про себя отметил: приятное ощущение, когда в тебе больше не признают бывшего алкоголика. Как, должно быть, расправилось моё лицо от старых морщин, что я теперь каждое утро сияю и даже в зеркало мне для этого смотреться необязательно.

Я вспомнил об этом и ещё о том, что буквально полдня назад какая-то вздорная женщина обозвала меня алкашом. Это заставило призадуматься. Ну, верно, из-за дождя. Я был мокр и ботинки мои были грязны – а кто ещё может в таком виде стоять на паперти перед самой службой панихиды? Да и сквозь этот неуместный водопад трудно было разглядеть мою достойную осанку и выправку настоящего мужчины, писателя с язвительным пером наперевес. Вот и назвала как назвала, и я на неё, пожалуй, не обижаюсь.

Они рассказали, что один человек пьёт, когда всё либо совсем хорошо, либо из рук вон плохо. Если хорошо – так пусть себе пьёт, никто ему не запрещает, и он никому не нужен, а если плохо – то одному пить уже тоскливо и неуместно, и тогда зовёт он второго,

чтобы разделить свою тоску. Они начинают выпивать вдвоём, но грусть заразна, и вот уже через полчаса второму становится так плохо, что он выказывает желание надираться в одиночестве. А тем временем первому делается от выпитого так хорошо, что ему уже и не нужна никакая компания. И вот они думают расходиться, каждый в свою сторону, но гениальная мысль приходит кому-то в голову: а что, если позвать третьего, забрать у него все хорошие мысли, а все плохие – ему отдать, не жалея? Вот так образуется известная троица...

Это малая толика тех новых знаний, что были приобретены мной от этих товарищей во время утренних лекций в беседке. Я с грустью посмотрел на хрупкую деревянную конструкцию. Никого внутри не было, стояли одни пустые бутылки у лавочек. Среди недели забулдыги не такие отважные, чтобы пить беспробудно. Я цокнул языком, повернулся к парку, сделал шаг – и вот я уже снова дома. Сажу в кресле и о чём-то думаю, но мыслей в голове столько, что думать по-прежнему никак не получается.

День прошёл – и слава богу. Только, казалось, почистил зубы – и что, опять чистить? Во всяком случае, это лучше геморроя... И повторил про себя: жаль всё-таки, что вороны и алкаши – утренние существа. Вечером публично не пьют и перед заходом не клюются. Или мне просто не повезло, и я не туда пошёл?

Тело ломило, ног я закономерно не чувствовал, я уже свыкся, но теперь ещё и не ощущал я своих рук. Все конечности замлели. Сколько дней я не спал? Три или пять? За сколько я написал своё сочинение? Если по семь тысяч слов, то... А если по девять с половиной – тогда сколько? От трёх до шести, точно, где-то в этом районе.

Как-то исподтишка и незаметно всё случилось. И книга, и приезд Андрея, и Кассиопея, и всё остальное. Вроде покорился лени – а столько произошло. Вот чудеса...

Сегодня я не ел, так зачем мне чистить зубы? Я художник, я так вижу. Для начала застелю помятую постель. Но это же надо сначала пройти эту комнату, потом всю прихожую, в которой я точно – точно! – опять грохнусь, и только затем войти в спальню и в этом всём разноцветье сиянья... Боже, как же я это ненавижу – стелить постель...

Знайте: я терпеть не могу звук белья, когда его трясут, чтобы расправить, и застилать постель тоже не перевариваю. Издевательство какое-то. Нельзя разве, чтобы всё было просто и минималистично? И желательно – в одном помещении? Поел, поспал, посрал. Так ли уж это трудно реализовать в нынешних условиях прогресса?

Кто придумал расстояния между предметами, между чашкой этой и моим гением, между издательствами, редакциями и моей невообразимой опунцией, кто придумал три измерения материального, заикленного на себе мира? Про время я вообще молчу – оно не поддаётся познанию: то бежит, то стоит на месте, как огорошенное, как его понять? Например, та же книга... Почему между ней и признанием тоже очень много расстояния, всякого разного и совершенно не нужного? Было бы неплохо ещё раз её перечитать. Я ни одну книгу ещё не читал с таким удовольствием, как свою последнюю, хоть своё я, как помните, и не читаю, но в данном случае не удержался, чтобы не сделать исключение. Она вышла добротная, да, её не стыдно показать даже необразованному плебсу, которого только гороскопы и интересуют. Я посмотрел на столик – туда, где раньше лежал сахар. Сахара не было, зато был откуда-то там планшет. Я был уставшим, глаза закрывались, но всё-таки решил перечитать. Это займёт пару часов, до утра я справлюсь. Заодно сделаю какие-нибудь правки, отшлифую стиль. Я открыл планшет. Передо мной была белая, ослепительно, начисто белая страница с одним лишь многоточием вверху, мистически нависавшим над бледной пропастью: «...». А ниже было – пятьдесят тысяч ненапечатанных слов.

Текста, короче, не было. Ни одной буквы. Ни. Одной. Поганой. Буквы. Курсор выжидательно мигал в начале строчки, что-то мне подсказывая, какую-то страшную, ужасающую истину. Я почувствовал, как сводит желудок, как темнеет в широко открытых глазах. Что-то во мне оборвалось, я побледнел и вцепился в кресло, но потом вспомнил, что копию отправил в редакцию. «Вроде как...» – рассыпалось сомнение вибрациями по

коже. Смешная шутка, подумал я. Очень смешно, прям обхохочешься. Должен был отправить, да. Так что даже если и не шутка это чьего-то больного воображения, волноваться в любом случае нечего. Я точно, твердил я себе, писал все эти дни и совершенно точно всё, что хотел, написал. Я же помню, как пил литры чая, как был вот ещё вчера четверг, а сегодня – уже середина следующей недели... Всё это было, я вам говорю. Точно, точно. Да, но тогда как же...

Я не стал дальше думать о пустом. Я повторил: «Копия есть в редакции». Должна быть. Да. Нечего морочить мне голову. Я сверкнул улыбкой и обмяк на своём троне. Зубы чистить не буду, стелить постель – тоже. Может, с гонорара нанять прислугу с тёмным оттенком кожи, чтобы и стелила за меня, и готовила? Андрей будет завидовать. Хотя на эти деньги нанять можно будет разве что дворовую псину – глодать кость и охранять дом от незваных мучеников. Но расстояния – это всё же издевательство. Когда будет прислуга, я зайду в мэрию, а ещё лучше – позвоню туда по стационарному телефону, не вставая с места, и предложу: пусть сделают так, чтобы всё было в одном помещении. Чтобы мне не приходилось вставать ради таких мелочей, как зубы и постель, и еда, и прочее. А потом пошлю их в известном коротком направлении по нездоровой привычке... Подумать только: это же каким надо быть садистом, чтобы...

В молчаливом стыде, гордости и возмущении, погружённый в мысли о расстояниях, беседке и алкоголиках, а также о том, во сколько всё-таки открылись магазины, как сильно я постарел и где взошло сегодня солнце, я так и утопаю в кресле. Закрываю глаза после всех этих бессонных дней и ночей и почти засыпаю каким-то тревожным, дёрганным сном, в котором ёрзаю на неудобной лавке и где все алкаши вместе с ангёлами мне в один голос твердят, что не было этих дней, что ничего я не написал и, более того, не напишу больше, а потом... А потом как будто рассеивается сизая дымка, я что-то вижу, но не могу разобрать, что именно. То ли чей-то почерк и выведенные им имена «Серёга» и «Лёха», то ли чёрные точки под веками, или, может, это солнце встаёт на западе... Я пару раз моргаю, чтобы предметы стали чётче, чтобы очертания их стали резкими, как у дома напротив. Чтобы проснуться, если вдруг заснул. И вот силуэты проступают сквозь пелену, становятся различимы, как чернила на папирусной бумаге... Вечер.

Я бросаю зонтик на лужайку, громко матерюсь и медленно начинаю ползти к парку, над которым уже в блеклом свете Меркурия поднимается туман...